

...Василий Макарович Шукшин, как мне представляется, был максималистом, его жизненный путь усыпан максимальными трудностями, максимальными замыслами, а то, что им свершено, останется в русской культуре. (Являются ли максималистами Тарковский или, скажем, Евтушенко? Решите, читатели, сами...)

Вот примерно таких взглядов я придерживался во время моего знакомства с Макарычем. Наша многолетняя дружба случайной не была.

Тяжесть шукшинского креста с годами все увеличивалась, но Макарыч шел на свою Голгофу, не оглядываясь и не озираясь. «Как горько мне было уезжать!» — говорит он о первой, еще краткой разлуке с родным домом. Вторую разлуку Шукшин описывает так: «Душа потихоньку болит — тревожно, охота домой. Однако надо выходить в люди».

Поступление его в техникум я назвал первым вполне осмысленным броском из крепких материнских рук, из прочных деревенских объятий. Сельский парнишка, лишенный не только родного отца, но и отчима, становится мужчиной, берет на себя ответственность за мать и сестру.

Учиться! Учиться во что бы то ни стало, чтобы, во-первых, облегчить ношу, сдавившую материнские плечи. Но какое надо было иметь упрямое мужество, чтобы отказаться от учебы и привезти обратно к матери «постельную принадлежность», когда почувствовал, что автомобильный техникум — это совсем не то, что надо нечто другое, что для этого другого необходимо двигаться в европейскую часть государства. «Поучившись полтора года, бросил учебу, пошел работать, — пишет Шукшин в автобиографии 1973 года. — Работал сперва в колхозе, потом с 1947 на стройках...» Стоп!

Первем на минуту наше повествование, осмыслим, чего это стоило матери, Марии Сергеевне. Из техникума он ушел и уехал с Алтая. Ближе к Москве...

Но вот и первая серьезная радость: денежный перевод родным на Алтай. Не ахти сколько, но все же... Где только ни носило, кем только ни вкалывал, чтобы самому прокормиться, одеться-обуться, да и послать денег в Сибирь. Такелажник на строительстве турбозавода в Калуге, слесарь на тракторном заводе Владимира,

слесарь на ремонтно-строительном поезде ст. Щербинка... И почти с каждой полочки — переводы в Сибирь. Немного, но душа мягчела от почтовых квитанций, эти переводы не давали ожесточиться.

В такой тревоге за будущее сестры и матери настигла Шукшина необходимость служить действительную. Военно-морской флот, Ленинград...

Флотская романтика (тельняшка, бескозырка, военные корабли) слегка скрасила суровость матросской жизни, но никуда не делись ни заботы о матери и сестре, ни почти несбыточные мечты о десятилетнем образовании. Появляются друзья из офицерской и матросской среды. Другой мир, другие впечатления! А вот и Черное море, солнечный город Севастополь, отстроенный после кровавой войны, город сопок и флотских музеев, пронизанный золотыми лучами русской истории. Здесь Василий Шукшин становится старшим матросом-радиом. Должность хоть и невелика, но позволяет ежеквартально скопить денег и послать на Алтай. Но где же среднее образование? Его нет... Время идет, вот уже и на третий десяток двинуло. Аттестат зрелости даже и не маячит, он все еще в морской дымке... Как повернется судьба после службы? И далеко ли уедешь на морзянке и художественной самодеятельности? Свистеть умеешь так, что ребята в восторге... Тужи не тужи, служба быстрее не побегит. Одно спасение — новые книги, да еще кое-что начал на досуге записывать.

В январе 1953 года Военно-медицинская комиссия из-за язвенной болезни списала старшего матроса Шукшина с корабля... Прощай, Черное море. Поезд стучит колесами по снежной бесконечной России, стучит и сердце — то тревожно, то радостно. Час за часом ближе и ближе к родным. Вот и Алтай за окном! Как-то там, в Сростках мать и сестренка? Мелькают один за другим березовые колки. Но лишь в Бийске, когда выбрался на Чуйский тракт, почувствовал, что теперь он дома, минутное дело — и Сростки.

Вот и знакомый заборчик с родимой калиткой. Радостным визгом встретил Шукшина пес Борзя, в слезах выбежали из дома Мария Сергеевна и подростовая сестра Таля, прибежали соседи. Что тут началось! Не мог и сам удержать счастливых слез...

При первой возможности, после застолья, когда угомонились родственные восторги, накинул шинель, вышел к реке. Взглянул в сторону гор, окинул поспешным взглядом заснеженную тополиную рощу на Поповом острове. Тихо. Только в камнях глухо шумит незамерзшая часть родимой реки. Скорей на Пикет! И когда вышел на громадный крутолобый и широкий увал, добрался до того места, где резко и круто, почти под ногами обрывается он, захватило дух от простора, от бескрайности отцовской земли, заплакал чуть ли не в голос. Оглянулся. Никого вокруг не было... Чуть не бегом спустился с Пикета. Пришел в себя около сестры и матери, слегка успокоился и только после этого начал ходить по родне, кого не успел встретить на чаепитии. Хотелось обнять каждого, даже незнакомого встречного. Но главный визит после родственников — школа, библиотека. Не пропадем! Сразу же, не теряя ни одного дня, в рукопашную за учебу...

А Катунь глухо и спокойно шумела за шукшинской спиной, весна торопилась в Сростки. Небо разверзлось над Пикетом еще светлее и шире, еще дальше стала видна родная Сибирь.

Да, пожалуй, и некогда любоваться меняющимися по цвету просторами, обложился учебниками. Прорвемся, он обязан взять эту крепость! Заветный аттестат зрелости даже снился во сне. Зрелости? Какой такой зрелости, он давно созрел,

вот залечить бы только проклятую язву. Мать достала у знакомых пчелиного меду. А пчелки уже летают по сибирским цветочкам. Как прекрасна земля в цвету!

Визит в райком не исчез бесследно. После того, как поставили на учет, Шукшину предложили работу в Сросткинской школе. В том же 1953 году Шукшин становится вторым секретарем Сросткинского РК ВЛКСМ, о чем свидетельствует К. Николаенко в барнаульской газете «Голос труда»: «... я был в командировке в Бийске. В номер гостиницы, где я жил, поселили второго секретаря Сросткинского райкома комсомола В.М. Шукшина». («Голос труда» от 31.12.99.) В автобиографии 1973 года Шукшин не упоминает об этой работе, он как бы стеснялся ее афишировать. Слишком не совпадал данный кусок жизни с судьбой расстрелянного отца, судьбой всей родни, да и всей биографией самого Макарыча! Со мною он говорил об этом эпизоде с улыбкой, и то потому, что я тоже прошел партийную школу.

...Казалось, матросский период благополучно завершен, но снова появилась изжога, язва не зарастала. Сколько же раз глотать эту жуткую кишку? Гастрокопия вновь подтвердила диагноз, а учеба в полном разгаре. Работа нашлась, и женитьба приспела — а куда от нее денешься? Лихая была пора для Макарыча, ничего не скажешь! Подсобляли ему все: мать и сестричка, родня отцовская и материнская, учителя и дружки-одногодки, работники клуба и сросткинской библиотеки. Наконец победа, сдан последний экзамен, получен заветный аттестат зрелости!

Как досталась матросу эта победа, Макарыч особо не распространялся, никогда не рассказывал он и о первой женитьбе... Только глухо покашливал, переводил разговор на другие темы. Все эти годы он тайно вынашивал план второго броска на Москву. По-видимому, как раз весной и летом 1954 года он твердо решил покинуть Алтай. Наверное, великая жалость к жене, матери и сестре точила ему сердце, когда он думал о своих планах. Для будущих честных биографов Шукшина не помешает и сценарий «Позови меня в даль светлую», и нехитрая сибирская песенка «Миленький ты мой», и некоторые рассказы, пронизанные болью не только за мать и сестру, но и за женщину, оставленную в Сибири. Разрыв с этой женщиной был предопределен переездом в Москву, которая не верит никаким слезам.

Только мать Мария Сергеевна простила ему все, что связано с новой разлукой; жена, кажется, не простила... К тому времени скопилась порядочная папка с рукописями, пресловутый аттестат зрелости вместе с этими рукописями подбадривал Шукшина. Он скопил какие-то деньги, поднапрягла семейный бюджет мать, и к осени 1954 года он все бросил и ринулся в Москву. Словно с головой прыгнул в холодный омут! Что ждет его? Какие напасти припасает судьба, как «опружить» эти напасти? Надо поступить в институт, чего бы это ни стоило!

Бывший матрос трусливым не был. Без колебаний отыскал он калитку на Тверском бульваре. Редакцию журнала «Знамя» он вряд ли заметил, но по скверу Литературного института шагал с замирающим сердцем. Бронзового Герцена в то лето тут еще не стояло. Шукшину не понадобилось заходить в главное здание, на фронтоне которого красовались знаменитые музы. Приемную комиссию он обнаружил во флигеле. На какого цербера нарвался Шукшин со своей рукописью? Или какая-то серая московская галка пропищала жестокую фразу? Надо пройти конкурс. Художественный, причем... Исписанную от руки пачку листов даже не стали читать. Сердце его обрушилось. Что ж, конкурс, значит конкурс...

Мне не известно, кто завернул Шукшина из Литературного института... Сейчас, осмысливая шукшинский провал с Литинститутом, я думаю, будь на месте первого встреченного на шукшинском пути в вуз не цербер и не бездушная дамочка, а сам ректор Иван Николаевич Серегин, он бы разглядел в матросе то, что надо. И неизвестно, по какому пути пошел бы дальше Василий Макарович Шукшин, то ли скользкой тропой всяких эйзенштейнов, то ли каменистым шляхом Шолохова.

Так решаются судьбы русской культуры: то гавкающими церберами, то ехидным щебетом столичных пташек. Шукшин повернулся и вышел. Он был близок к отчаянию. Ведь в ту пору еще не было в Алтайских горах ледника с его именем, не было бюста в родном селе. Планета имени Шукшина в небе тоже явилась намного позднее...

Провидение отвело его от Архивного института, куда он поступал параллельно с ВГИКом. Вот он стоит перед не менее опасными дамочками, не допускающими случайных людей ни к литературе, ни к искусству. Велика Россия, бездонна и неисчерпаема! Безблагодатна пока столица ее Москва, несмотря на святые соборы. Но попадают и в Москве сибирские мужики вроде Пырьева либо Охлопкова...

Осенью 1954 года насмешники тиражировали анекдоты про алтайского парня, вознамерившегося проникнуть в ту среду, где, по их мнению, никому, кроме них, быть не положено, взобраться на тот Олимп, где нечего делать вчерашним колхозникам. Отчуждение было полным, опасным, непредсказуемым. Приходилось Макарычу туго среди полурусской, а то вовсе не русской публики. Часто, очень часто он рисковал, без оглядки ступал в непроходимые дебри.

Спасали его книги, спасали, но не спасли. Даже будучи признанным всею страной, он шел по долине и озирался каждую секунду, ожидая ядовитого укуса, змеиного броска. Как ему еще удалось так далеко пройти по этой змеиной долине? Его кончина для меня и сейчас так внезапна, так нелогична, я просто не буду о ней рассказывать...

Смерть Шукшина, на мой взгляд, подобна смерти Есенина. Шипенье змей продолжается, яд копится, истекает с их гнусных зубов даже после смерти Макарыча. Змеи, вернее, черти, захватившие монастырь, пишут этим ядом нашу историю... Прочтите хотя бы «юбилейную» статью Юрия Богомолова в «Известиях» от 30 июля 1999 г. Вы убедитесь, что шельмование шукшинского наследия за четверть века отнюдь не прекратилось.

* * *

Главным событием для русской культуры, по моим представлениям, стала его пьеса, где сказочный Илья Муромец бросил сакраментальную фразу, давшую Шукшину название произведения: «Ванька, смотри!» Этим «смотри!» неожиданно и странно погибший Шукшин сказал свое завещание друзьям и всем, кто считает себя русским. Горестные размышления о последующих российских событиях лишь подтверждают, что как раз эти слова и есть подлинное завещание Макарыча.

Змей Горыныч вновь сделал для нашей Родины все, чтобы ее оскорбить и унижить. Русские люди клюнули на перестроечную приманку... Пословица «нет худа без добра» здесь неуместна. Мы просмотрели даже трехмесячные жестокие бомбардировки Югославии. Оставили дружественную Сербию наедине с натовскими башибузуками. Кажется, что и до сих пор Ванька не совсем понял, с кем дело имеет и что его ждет. Сидя у телевизоров, мы подставили свои уши для очередной идеологической лапши. Эту лапшу бжезинские и киссинджеры старательно варят для нас в десятках и сотнях американских университетов. Вся жизнь и все творчество Василия Шукшина разве не доказывают правоту подобного утверждения?

Никогда не был я рьяным любителем кинематографа, считая кино синтетикой в искусстве. Об этом я твердил в своей публицистике еще при жизни Макарыча. Может быть, потому и пропустил фильмы с участием Шукшина. (Даже худиевскую ленту «Два Федора», одну из лучших актерских работ Макарыча, смотрел с большим запозданием.)

Впервые я услышал о Шукшине году в 56-м, от вологодского поэта Игоря Тихонова, активного и весьма способного участника местного литобъединения. Мы собирались в редакциях газет, обсуждали свои опусы, спорили, но время так называемой «оттепели» никто из нас не почувствовал. Насколько помнится, всю жизнь стояла идеологическая «холодьюга»... Тихонов был знаком со всеми актерскими работами Шукшина, с восторгом встретил он и его первую книжку «Сельские жители». Сам Игорь был незаурядной, несколько бесшабашной личностью, из числа тех русских парней, которые из-за войны и нужды не имели ходу в культурную привилегированную среду.

В один из моих приездов на Вологодчину он рассказывал о Шукшине, о его работе в «Двух Федорах», о первой шукшинской книге. Где-то я приобрел «Сельских жителей» и поразился удивительному сходству своего и шукшинского детства. Через издательство я послал автору письмо, где восхищался рассказами. Вначале я даже не думал о личной встрече с Шукшиным. Со всем пылом неопита осваивал Москву. Четыре десятка однокурсников составляли пеструю публику. Москва вскармливала своих будущих недругов. Однажды кто-то из студентов заглянул в мою комнату и попросил сходить на тот этаж, где проживал один белорусский сценарист. Мне сказали его номер. Я нашел комнату, постучал. Все стены были увешаны страницами очередного киносценария. Свой рабочий стол киносценарист уступил мужчине средних, как мне показалось, лет. Он сутуло сидел за столом прямо в темно-коричневом зимнем пальто. Обернулся на мой приход с широкой, но несколько грустной улыбкой. Произнес глуховато:

— А, дружище, так это ты Белов? Придется нам познакомиться...

— Это Шукшин, — сказал несколько недовольный киносценарист.

Я за руку поздоровался с обоими. Присел на свободный стул. Мы обменялись несколькими дежурными фразами.

И для Шукшина, и для минского киносценариста я был всего лишь студент, которому не положена отдельная комната. Я испытывал неловкость и вскоре ушел, сообщив номер своей комнаты.

Вскоре я вновь встретился с Макарычем. Это было в пору его работы над фильмом «Живет такой парень». К этому времени я каким-то образом тайно от коменданта занял свободную комнату и благодаря этому за две недели написал повесть «Деревня Бердяйка», с которой и началась моя прозаическая деятельность. Мою «Бердяйку» напечатал в своем альманахе Борис Зубавин.

Однажды Лев Ошанин устроил нам экскурсию на «Мосфильм», и я впервые наяву увидел, как делаются кинофильмы. Мне это совсем не понравилось...

Встреча с Шукшиным произошла в то время, когда он разводился со своей «библиотекаршей». Семейные неурядицы были у нас с ним, конечно, разные, но во многом иногда одинаковые: мы оба, как могли, противились благоглупостям своих жен, зараженных женской эмансипацией. Не избежал подобной опасности и Шукшин, когда женился на Федосеевой. Макарыч не скрывал от меня и от Заболоцкого своего весьма тревожного семейного состояния, усугубляемого напряженной идеологической обстановкой в Москве. Мое настроение было не лучше шукшинского, но тут я слегка забегаю вперед...

Осенью, кажется, 1964 года, после очередного нервного срыва он безуспешно гасил свое отчаяние сухим вином. Мне хотелось хотя бы на время оторвать его от семейного дискомфорта, от недружелюбной киношной среды, и я предложил ему поехать ко мне в деревню. Он согласился охотно.

Далеко не в лучшем духовном и физическом образе мы приехали в Вологду. Я познакомил его с женой Ольгой Сергеевной, показал закуток, где уединялся для работы (темная непроветриваемая кладовка площадью 2,5 кв. метра). Там умещался лишь стол и стул. Матери Анфисы Ивановны дома не оказалось, она пестовала в ту пору моих племянниц. (Знакомство Шукшина с матерью состоялось позже, когда родилась моя дочь Анюта.)

Мы переночевали и утром уехали пригородным поездом Вологда — Вожега. [Потом] мы дождались мотовоза и влезли в его грохочущее нутро. Моторист не узнал в Шукшине киногероя, чему Макарыч, кажется, был весьма рад, и несколько повеселел, болтал с ним о том, о сем. Машина сильно гремела, качалась на каждом стыке, угрожая сойти с рельсов, что придавало нашему продвижению некоторую, связанную с риском, романтику.

На 41-м километре мы покинули мотовоз и отыскиали в лесу тропку, ведущую в родную мою сторону. До Тимонихи осталось километров двенадцать. То по вырубленному лесу среди ягодников, то по невырубленному мы отошли от УВД. Мотовоза давно не слышно. Лесная предосенняя благодать окутала нас нежно и властно: Макарыч крикнул от удовольствия.

Я рассказал, как чуть не четыре года служил под началом Лаврентия Павловича, как поклялся приехать с гражданки и плюнуть в лицо одному капитану. Теперь пришла очередь смеяться Макарычу:

— Ну что, выполнил клятву?

— Нет, прособирался... Так и не съездил.

Оказалось, Шукшин тоже имел отношение к морзянке. Мы прислушались к свисту рябка, загатаившегося в ельнике. Я рассказал, как с помощью азбуки Морзе высвистываю рябчиков на охоте. «А меня списали с корабля из-за язвы желудка, — сказал Макарыч. — Приехал домой с язвой, лечился медом. Мать и сейчас говорит: сходил бы ты, сынок, к еврею... — Он опять засмеялся. — К какому еврею, мама? Врачи и так чуть не все евреи. В кино, говорю, их еще больше».

Было приятно, что Макарычу стало веселее в моем лесу.

Мы шли не торопясь все двенадцать километров, прошагали часа четыре. Осенний лес был не то что летний или весенний, кишачий птицами. Сейчас все было спокойно, лишь иногда стукали дятлы и тонко свистели рябчики. Природа готовилась к зимнему сну. Шукшин совсем повеселел, он вышагивал рядом, если позволяла дорога, отставал, когда она становилась тропой. Он рассказывал о своих детских эпизодах с алтайскими змеями, а я похвастался, что в моем лесу не водятся даже безобидные ужи, не говоря о гадюках.

— Почему? — спросил он.

— Холодно, они тут вымерзают.

Я поведал ему, как пас однажды коров и заблудился. (История описана в этюде «Иду домой» и в повести «Привычное дело».)

Лесное безмолвье изредка прерывалось звучными очередями. Эту пулеметную дробь запускали дятлы, смело долбившие своими носами сухую древесину. Я вспоминал Александра Яшина с его незабвенным Бобришным угором. Для чего дятлы долбят?

Мы поговорили о головной боли, которая почему-то никогда не преследует эту нарядную птицу, но тайга навевала Шукшину другие, более трагические темы. Он говорил о народных страданиях, о лагерях...

Но лес моей родины кончился, мы незаметно подошли к заросшим ивой и ольхой полям, где я провел детство и раннюю юность. Макарычу была интересна любая деталь...

Мы вышли в поле, Макарыч сравнивал наши неброские поля с родными алтайскими. Рассказал о раскулачивании в Сростках, о расстреле отца. Он знал подробности по рассказам матери, да и сам кое-что помнил. Таинственное, полученное однажды письмо, конечно, не оправдало его предположений о том, что оно прислано родным отцом. Этот случай он рассказывал мне несколько раз...

Разговор о них, о «французах», как тогда говорилось [про евреев], продолжался уже в моем обширном доме, где все было как и прежде.

Мы скинули рюкзаки и затопили русскую печь. Четвертинку водки, спрятанную в моем рюкзаке, я поставил в шкаф. Далее сюжет развивался так: едва мы успели переночевать, радио объявило о Дне колхозника. Бабы позвали меня на общий праздник играть на гармонии, Шукшин идти отказался. Я не настаивал и дал ему несколько книг. Показал, где стоит чекушка и что поесть. Ушел я «пировать» со старухами в крайний, уже нежилой дом.

Имевшиеся в наличии старухи и бабы, несколько мужиков из Тимонихи и Лобанихи — вот и вся наша когда-то многочисленная бригада. Сдвинули два стола, разложили какие-то пироги. Бригадиром тогда был Вася Смирнов. По прозвищу Опаленный. Все лицо у него в красных рубцах, горел в танке. Смирновым принесена была водка и чья-то гармонь. (Своей гармошки у меня в ту пору, кажется, еще не имелось. Или она оказалась неисправной.) Я так обрадовался встрече с земляками, что забыл и про гостя, которого одного оставил в своем доме. Вскоре женщины затянули неизменного «Хас-Булата», спели некрасовскую «Коробушку», а затем им захотелось и поплясать. Мне пришлось взять гармонь. Думаю, сыграю разок и домой...

Раньше плясали у нас по двое, но когда гостей много, то переходили на пляску «кружком», то есть все вместе. Выкладывал я все свое умение, старались и мои земляки, вернее, землячки. Мужчин было всего двое-трое, и они не плясали. (В 1999 году я с ужасом обнаружил, что и землячек уже осталось в живых всего две. Моя родина вымерла.) Вдруг в бабьем кругу появилась высокая мужская фигура. Я обомлел — Шукшин! Он плясал с моими землячками так старательно и так вдохновенно, что я растерялся, на время сбился с ритма. Но сразу выправился и от радости заиграл чаще. Не зная бабьих частушек, Макарыч ухал и подсказывал в пляске чуть не до потолка... Плясал же он правильно, так же, как наши бабы, я видел его пляску уже во второй раз, о первом рассказу ниже. (Позднее, когда смотрел фильм «Печки-лавочки», я окончательно убедился, что на Алтае пляшут точь-в-точь, как и у нас на Севере, с индивидуальными вариантами. Одинакова оказалась не одна пляска, но и многие песни, и пословицы, и форма слогов, и названия упряжи или другой утвари. Родство с Алтаем было полным, причем не только с Алтаем, но и с Хабаровским краем... Не мудрено: Ерофей Павлович, мой земляк, дал название железнодорожной станции. Валентин Распутин, побывавший на Вологодчине, тоже во всем улавливал это родство.)

Шукшин плясал вместе с женщинами, пока в сених не завязалась драка. Два мужика, пришедшие из Лобанихи, сводили счеты, оставшиеся еще с войны и свя-

занные с женой одного из них. Драчунов женщины успешно вытолкали из коридора на улицу, а на ворота накинута крюк. В горячке я тоже хотел было стать «миротворцем», то есть ввязаться в конфликт, топорщился и азартный Макарыч. Тем временем бабы передали гармонь другому игроку. Мы спели еще «Златые горы», поговорили, и я увел Шукшина домой.

Мы продолжили День колхозника уже вдвоем. Сидели за столом у окошка и пели. Спелись в прямом смысле, где забывал слова я, там вспоминал их Макарыч, где забывал он, там подсоблял я. И сейчас помню глуховатый его голос. Спели «По диким степям», «Александровский централ», «Шумел, горел пожар московский» и еще что-то. Так оставленная в шкафу чекушка разбередила Шукшину душу, он не выдержал одиночества и прибежал в дом, где праздновали женщины. Завершился «день колхозника» походом за речку в гости к моему приятелю Фаусту Степановичу.

Личность моего приятеля была примечательна не только странным именем Фауст. Он был потрясающий рыбак. Поклонник генералиссимуса Сталина, он в самые азартные годы гонений на исторического вождя не снимал со стены газетную вырезку с фотографией Рузвельта, Сталина и Черчилля. Сам он оставался колхозником, редко и нехотя работавшим в «коллективе». Все время устраивался то пожарником, то дорожником. Моя мать не любила его как раз по этой причине, однако мои отношения с Фаустом Степановичем были почти всегда отличными, пока он не начал требовать от меня того, что от меня никак не зависело. (Например, чтоб я снял с должности председательшу. Мы рассорились с Фаустом как раз на этой почве, но в пору приезда Макарыча жили весьма дружно.) Я даже устраивал Александра Яшина на ночлег к Фаусту, когда Яшин простуженным приехал в Тимонику.

Помню, мы с Макарычем долго сидели у Фауста за самоваром, слушали рыбацкие и лесные истории. Мужик всегда изъяснялся образами, например: «Чего задумался? Пусть думает мерин, голова у него больше». Или: «В нашей конторе стуликов не хватает, дак сидят и на подоконниках». О рваных сетях он говорил: «Наша рыба дыр не боится». Макарыч быстро нашел с Фаустом общий язык, а Заболоцкий позднее дружил с рыбаком до самой его неожиданной кончины. (Фауст пошел утром поить лошадь и не вернулся, умер прямо в конюшне.)

...Мы с Шукшиным ушли от Фауста глубокой ночью. Фауст благословил нас свежей рыбы на завтрашнюю уху, я взял, сколько вместилось в кепку, и мы двинулись в ночь. Небо светилось от звезд, а внизу стоял плотный туман. Полное безмолвие окутало мою родину. В ночи с севера на юг бесшумно летело какое-то яркое небесное тело. Мы приняли его за метеорит, но оно летело какими-то странными зигзагами, оно как бы кувыркалось в ночной мгле... Моя деревня мерцала в тумане всего одним огоньком. Лавы через речку оказались узки, я поскользнулся, поддерживая Макарыча, и мы оба полетели с них долой. Воды в речке было всего по пояс, Макарыч тотчас выскочил, а я со смехом ловил в темноте уплывающих рыбок. Они уплывали от нас по течению, но часть из них я изловил и утром сварил уху. Печь к этому времени стала еще теплей, и Шукшин полюбил это место, вспоминая мать и прежнюю пору. У меня было точно такое детство, как у Макарыча, только нас осталось без отца пятеро. Мы говорили о странных именах, которые давал наш священник, о Яшине и Федоре Абрамове, о его повести «Безотцовщина», о яшинских «Рычагах».

На следующий день я истопил для Макарыча баню и повесил ему на печь

керосиновую лампу. Вновь зашла речь «о них». Кто был Андропов, который дамкловым мечом висел над нашими темечками? Бог знает. Шукшин в тот вечер прочитал кое-что из моих писаний и посоветовал закопать их где-нибудь в доме, где нет пола. (Позднее я так и сделал.) Сидя внизу, я слышал, как Макарыч рванул на груди рубаху...

Через три дня он начал торопить меня с отъездом. Мы ушли за семь километров на центральную усадьбу, выехали на автобусе в Харовск. В райцентре нас встретили районные слишком гостеприимные журналисты, и мы начали гуртом ходить «по избам», как выражалась Ольга Сергеевна. Проходили «по избам» вплоть до архангельского поезда. Вечером покинули мой райцентр, но в Москве выгрузились без моего рюкзака. С похмелья и в суете оставили поклажу в поезде. Я несколько раз писал в Архангельск и железнодорожному начальству в Москве. Но ни из Москвы, ни из Архангельска ответов не последовало. Рюкзак так и канул. Кто-то сильно обзарился на наши рукописи и пироги с рыбой Фауста Степановича. Шукшин лишился рукописи очередного киносценария, а я повести «Плотницкие рассказы». Ладно, что у того и другого оказались дома вторые экземпляры.

Шукшин писал после поездки:

«Вася! (До чего у нас ласковое имя! Прямо родное что-то. Хоть однажды скажи маме спасибо, что ты не Владимир, не Вячеслав...) Здравствуй, друг милый! Письмо твое немного восстановило в душе моей «желанное равновесие». Ты — добрый. Как мне понравилось твое ВОЛОГОДСКОЕ превосходство в деревне! И как же хорошо, что эта деревня случилась у меня! У меня под черепной коробкой поднялось атмосферное давление. А ведь ты сознательно терял время, я знаю. И все-таки: помнишь ту ночь с туманом? Вася, все-таки это был не спутник, слишком уж он кувырчался. А внизу светилось только одно окно — в тумане, мгле. Меня тогда подмывало сказать: «Вот там родился русский писатель». Очень совпадает с моим представлением — где рождаются писатели. Ну, друже, а за мной — Сибирь. Могу сказать, что это будет тоже хорошо. У меня так: серьезно, опасно заболела мать. Ездил домой, устраивал в больницу. И теперь все болит и болит душа. Мы — не сироты, Вася, пока у нас есть МАТЕРИ. На меня вдруг дохнуло ужасом и холодным смрадом: если я потеряю мать, я останусь КРУГЛЫМ сиротой. Тогда у меня что-то сдвигается со смыслом жизни. Быт? Родной ты мой, ну, а что делать? Что делать?!! Одному жить невозможно. Не пишу. Ездил домой, потом ездил в Югославию. Кажется, это последний раз, что меня посылают за границу. Я перепутал Белград с Тимонихой. Ну и черт с ними! И в России места хватит. Тебе известно, что Ершов отказался от твоей повести? Я тебе говорил, что это... Не горюй, Вася. Глупо звучит, но не горюй.

Маня растет. Обнимаю тебя. Шукшин».

Даты на письмах он никогда не ставил, это письмо было уже зимнее. В своем письме ему я, вероятно, жаловался на свой быт. Можно бы прокомментировать каждую шукшинскую строчку, но стоит ли?

* * *

Таково предисловие к поспешному описанию наших многолетних дружеских отношений.

Эта рукопись была бы написана лет двадцать назад, если б не одно странное обстоятельство, для читателя, если таковой будет, вряд ли это обстоятельство интересно, и все-таки я должен объяснить. Почему я так долго не осмеливался братья за шукшинскую тему? Дело в том, что я как-то стеснялся откровенно рассказать о наших отношениях с Василием Макаровичем, поскольку многие эпизоды его судьбы до смешного схожи с моими. Впрочем, смешного в этом сходстве мало... Оно скорее трагично. Разница в нашем возрасте невелика. Его отец расстрелян во время раскулачивания, мой погиб на войне. Велика ли тут разница? Одни ненавистники нашего государства подчеркивают разницу в потерях военной поры с потерями предыдущих периодов. Для меня в этих потерях особой разницы нет. Гражданская война и троцкистская коллективизация ничуть не дешевле обошлась русским, чем наши жертвы во время Великой Отечественной.

Шукшин (...) написал пронзивший меня рассказ, как мать с детьми добывала зимой дрова. Со мной все было так же, один к одному. Именно после того рассказа я осмелел, набрался нахальства послать автору благодарственное письмо. Ответ на него затерялся среди других писем, но я запомнил характерную фразу: «Аванс ты мне выдал большой, теперь придется отработывать...»

Как Шукшин «отработывал» мой «аванс», видно хотя бы из воспоминаний Анатолия Заболоцкого. Макарыча даже не прописывали в Москве, его выпустили из ВГИКа с волчьим паспортом. Он жил в столице нелегально, подрабатывал игрой в каких-то случайных, порою бездарных фильмах.

Феномен массовости стал главной решающей причиной того, что Шукшин посвятил себя кино — этому общественному идолу. Идол, правда, долго не уступал шукшинскому напору. Как норовистый жеребец, он больно кусался, лягался задом и передом. Нужна была незаурядная смелость и неподражаемая сибирская энергия, чтобы одолеть этого жеребца, на что Шукшин тратил почти все свои силы. Писательство оказалось для Макарыча на втором плане. Но письмо Леонида Леонова, насколько мне известно, подействовало на него довольно сильно... Впрочем, письмо Леонова и встреча с Шолоховым были позднее. Вначале же он был непреклонен, держался кинематографа и судорожно искал непродажных друзей среди земляков и столичного бомонда.

Наверное, с этим обстоятельством связан один характерный эпизод, происшедший вскоре после нашего с ним знакомства. Мы ехали однажды по столице ночью в такси, причем Шукшин был чуть «под мухой». Вероятно, он на ходу соображал, где бы ему ночевать. Тогдашняя Москва среди глубокой ночи становилась совсем пустынной. Шукшин остановил машину напротив Савеловского и вылез. Шофера не отпускал. Я не мог оставить своего нового друга одного среди ночи и тоже вышел из машины. Друг же неожиданно принял боксерскую стойку. Начал он задираться и провоцировать меня на драку: «А ну, давай, давай, отбивайся!» И начал прискакивать вокруг меня. К боксу я был всю жизнь равнодушен и, хотя было обидно, отбиваться не стал. Шофер с любопытством глядел на нас из работающей машины. Шукшин сделал слабый непрофессиональный выпад, я оттолкнул его руку. «А, а, трусишь!» Я в сердцах уселся в кабину и хлопнул дверцей. Он сделал то же самое. Мы долго молчали. Таксист терпеливо ждал. Шукшин, смеясь, обозвал меня хлюпиком, упрекнул в боязни милиции. Я всерьез обиделся и надолго заглох. Шукшин почувствовал это, перестал хамить, начал просить прощения. Я промолчал. Не помню, куда мы поехали, кажется, к его благодетельнице Ольге Михайловне Румянцевой. Эта благородная женщина на свой

страх и риск прописала Шукшина на своей жилплощади. Обиженный, я не стал заходить, решил уехать на чем угодно или уйти. Шукшин щедро расплатился с шофером и приказал ему свезти меня на улицу Добролюбова. Но я в тот раз уже закусил удила...

...Он не хотел уезжать на работу в Магнитогорск, зная, что без Москвы ему фильм не поставить и вообще никуда не пробиться сквозь густопсовую еврейскую толщу. Но и в Москве он задышался.

Насколько помнится, уехал я от дома Румянцевой с некоторым сожалением, у меня имелся интерес к ее дочери Ире и зятю Юре Бухарину. Я готовился работать над хроникально-художественной книгой «Кануны» и своей широкой задумкой делился с Макарычем. Шукшин ездил ночевать в эту квартиру только в самых отчаянных случаях. Он стеснялся приезжать туда часто. Ольга Михайловна навсегда останется в благодарной памяти шукшинских почитателей. Не в пример многим начальникам, предательски подставлявшим Макарыча под тяжкий пресс неустроенного быта, она по-матерински принимала даже меня. Ее дочь Ирина и зять художник Юра Бухарин рассказали и показали мне очень многое из того, что мне потребовалось для работы. Тогда я, как многие, идеализировал Николая Бухарина, считал, что Сталин — это сатрап, и что Бухарин на суде был подставным, не настоящим. (Сергей Николаевич Марков, с которым после института я сильно подружился и который с удовольствием ездил в Вологду, говорил: «Ходили слухи, что у Бухарина на суде отвалилась борода».)

У нас с Макарычем к Сталину и ко всей его братии существовал особый счет, о коем мы поговорим еще в этой книге. Юра Бухарин был сыном известной еврейки-красавицы, очаровавшей Николая Бухарина. После развода Юры с дочерью Ольги Михайловны Ириной он не ответил на мою просьбу о встрече. Следы его затерялись в грандиозной Москве, а может быть, и в Нью-Йорке. Но в то время я дружески встречался с Юрием Николаевичем.

Но дело не в нем, а в Ольге Румянцевой. Шукшинское покорение Москвы началось давно, еще с того времени, когда он ночевал под мостом, приглядываясь к столице и мечтая о вузе. Она, столица, действительно слезам крестьянским не верила. Макарыч рассказал случай, когда после очередного ночлега под мостом, на набережной, он познакомился с мужиком, вызывавшим какое-то доверие. Они встречались на набережной несколько раз. Мужичок говорил, как трудно русскому проникнуть в кино, и, видимо, сказал Шукшину свой адрес и однажды пригласил домой. Этот первый московский визит Макарыч не мог вспоминать без горечи. Жена нового знакомого, знаменитая актриса, встретила обоих слишком неласково. Мужичок оказался всемирно известным кинорежиссером Пырьевым. Не знаю, говорил ли Макарыч об этих встречах кому-либо еще, а если и говорил, то, разумеется, с оглядкой, потому что знакомство с Пырьевым еще и сейчас не проходит для человека бесследно. Супруга Пырьева выставила Макарыча за дверь, да еще и обругала мужа. Шукшин, с его обнаженным сердцем, конечно, прекратил хождение по набережной. Кто была эта супруга, я долго не знал и знать в общем-то не хотел. (Лишь недавно догадался, что знаменитые режиссеры обычно снимают главными героинями собственных жен.) Шукшин об этом не говорил, он всегда боялся выглядет болтуном.

Супругой же самого Макарыча была в свое время та самая библиотекарша из фильма «Живет такой парень», которая играла не только в кино, но и в семейной жизни. Она написала на Макарыча прямой донос в партбюро. Такого преда-

тельства Шукшин, разумеется, переварить не смог и оставил «библиотекаршу» в самый разгар съемок своего первого фильма. Он явился ко мне в общежитие, попросил никому не говорить, что он здесь, в общежитии на улице Добролюбова. Он жил у меня с неделю, прячась от всех. Я ходил за кефиром и варил пельмени, благо пельмени Макарыч любил и в еде был неприхотлив.

Однажды меня вызвали вниз, к дежурной. Около входной двери толпилась целая делегация во главе с бывшей женой Макарыча. Подсоблял этой жене кинооператор Гинзбург, который снимал «Парня» — фильм о шофере Пашке Колокольникове. Играл Пашку Леонид Куравлев. Не помню, присутствовал ли он среди посланцев. Делегация сразу же довольно агрессивно приступила ко мне. Помня наказ Макарыча, я сказал, что он заезжал, но где он сейчас, не знаю. Они потолклись еще минут пять и укатили. Поверил ли мне Гинзбург, так хорошо описываемый Заболоцким? Неизвестно. Но каждый час простоя на съемочной площадке стоил довольно дорого. Макарычу грозило увольнение со студии им. Горького.

Между тем я получил какой-то гонорар, и пришла православная Пасха. Сбегал я в магазин через дорогу и купил в честь праздника гармонь. Впоследствии она стала вполне литературной, поскольку была причастна и к судьбе Макарыча, и к судьбе поэтов Лени Мерзлика и Коли Рубцова, и к судьбе прозаика Астафьева. (Как моя баня, описанная в документальном рассказе «Московские гости», эта гармонь достойна отдельной, подробно рассказанной истории.) Пришел к нам в комнату Ваня Пузанов. Мы устроили пасхальную вечеринку. Случайно заехал и Володя Котов, работник журнала «Молодая гвардия». (Журнал уже в то время приобрел славу «антисемитского органа».) В той же «Молодой гвардии» обретался тогда еще до конца не раскрывшийся великолепный нынешний публицист Владимир Бушин. (Не подумайте, что я его хвалю потому, что сам его побаиваюсь.) Пасху мы отпраздновали довольно оригинально: русской пляской. Но Шукшину было в общем-то не до веселья. Он тужил и расстраивался. Стали сообща думать, как его выручать, перебирали общих знакомых, кто бы мог подсобить... Родилось несколько вариантов.

Наутро я побрел на этаж ВЛК, где жила писательница (кажется, из Казахстана), имевшая любовника в соседнем общежитии мединститута. Она близко к сердцу приняла нашу беду, пообещала связаться со своим кавалером. Впрочем, на этом месте я могу и сбиться со строгой документальности, поскольку этот сюжет использован в романе «Все впереди»...

Что значит документальный сюжет? И что значит документальный рассказ, введенный в литературный оборот именно Шукшиным?

В горячке наших литературных разговоров я пытался доказать, что рассказ есть рассказ, художественный жанр, что никакого документального рассказа быть не может. Документальным может быть и даже обязан быть только очерк, а не рассказ. Я убеждал, что сюжет всегда является организующим началом рассказа, что без сюжета рассказ рассыпается, что стиль, язык, настроение в прозе отнюдь сюжету не противоречат. Сюжетов в нашей жизни хоть отбавляй, но их нельзя делать достоянием всех. Пусть это делают газетчики. Литература отнюдь не использует все сюжеты подряд. (См. мою статью о сюжете в книге «Раздумья на родине».)

Шукшин доказывал, что любой рассказ может быть документален, и даже должен быть таким, что читатель больше верит документу. Мода на документ, применяемая в кино (например, фильм Герасимова «Люди и звери»), действовала, вероятно, и на Макарыча как на писателя и сценариста. Документализм позволял ссылаться на жизнь: так, мол, и происходит в самом деле, выходило, что разреша-

лось снимать любую тусовку, что и делал Герасимов. С такими зубрами, как он, Шукшину нельзя было не считаться, хотя он и имел свой взгляд на вещи. Запомнилось, как Макарыч встречал меня на киностудии им. Горького, куда я безуспешно совался со своим сценарием.

Вскоре я узнал, что недельное сидение в моей комнате обошлось для Шукшина выговором. Гинзбург продолжил съемки. Пашка Колокольников пошел в народ и принес Макарычу первую победу на режиссерском поприще. Втроем с Куравлевым мы отметили выход фильма обедом в ЦДЛ. Студентов вроде меня тогда еще пускали в эту заветную московскую цитадель.

Наше знакомство, теплые отношения с Макарычем закрепились и развивались уже по своим законам. Не так думали иные биографы Шукшина. Говорю прежде всего о наиболее серьезной книге покойного В. Коробова. Сейчас я с нравственными колебаниями думаю: а надо ли упоминать здесь все подробности, касающиеся моих друзей и знакомых? Может быть, не стоило все упоминать, например, о шурине Горбачева. Может быть... Но если быть документалистом (что я признаю в биографических книгах), то, наверное, надо рассказывать и о таких щепетильных подробностях о себе и своих друзьях.

...Скитаясь по разным ночлегам, Макарыч завез однажды меня на квартиру к Вике Софроновой. Я не видел тогда их маленькую дочь, может быть, я уклонился, может быть, девочки не было дома. Но разговор с покойной Викторией Анатольевной помню. Мы засиделись, и меня не отпустили домой в общежитие, хотя в те времена окошки первых и вторых этажей в Москве еще не были зарешечены. Убийства и грабежи были весьма редкими. Мне было послано на полу, Шукшин устроился на диване рядом, и мы долго еще говорили с ним о крестьянстве, о диссидентах, о политике и евреях. Заснули уже под утро.

Вообще о евреях и тогда говорили почти все, одни напрямую и громко, другие тихо, с оглядкой. О слове «жид» вспоминали редко, и то в основном сами евреи. Это слово произносилось обычно с провокационными целями. Если человек вспомнил жидов, то это был верный признак того, что он сам еврей либо из еврейского круга, и наверняка представит тебя своим близким как антисемита. Я несколько раз попадался в такую ловушку. Антисемитский ярлык был несмываем...

Шукшин прекрасно знал сие опасное обстоятельство, может быть, поэтому и устраивал мне экзамен с боксом. Большинству женщин он нисколько не доверял, особенно в политике. Не верил, как теперь выяснилось, и своей жене Лидии Федосеевой, не верил совсем не напрасно, если судить о ее замужествах. Он был радикальнее меня в этом смысле. Актера Жору Буркова он долго подозревал в двойной игре, и тоже совсем не напрасно. О Буркове убедительно пишет А. Заболоцкий в книге «Шукшин в кадре и за кадром».

Частенько он спрашивал меня о Шолохове, о наших встречах с писателем по молодежному Болгаро-Советскому клубу. Его встреча с Шолоховым во время съемок фильма «Они сражались за Родину» перевернула все его интеллигентские представления о писательстве... Нельзя забывать, что евреи с помощью демагогии энергично и постоянно внушали нам ложные представления о Шолохове. Ядовитая мысль о плагиате, запущенная определенными силами и поддержанная Солженицыным, посещала иногда и мою грешную голову. Сердце, однако же, вещало нечто другое. (Стерляжья уха на Дону во времена Болгаро-Советского клуба тут ни при чем.) Я был в легкой оппозиции к современному классику и должен когда-нибудь написать о нашей международной встрече с Шолоховым.

Но мои тогдашние представления о Шолохове связаны были не с солженицынской инсинуацией о «Тихом Доне», а с «Поднятой целиной», где главный герой учит мужиков-казаков, как надо пахать. Я не напрасно считал эту книгу уступкой конъюнктуре, что и подтвердилось в серьезных и благожелательных исследованиях.

Нынешний секретарь российского СП, будучи работником ЦК ВЛКСМ, опекал в то время молодежь. Он привез Болгаро-Советский клуб на Дон, всю громадную делегацию с переводчиками и зарубежными «марксистами». Меня поселили почему-то вместе с неким Мишей Членовым. (Не спутайте, пожалуйста, с Михаилом Чвановым!) Членов переводил с немецкого. До сих пор осталось стойкое ощущение, что этот Миша переводил не все и не точно, особенно наши политические разговоры с немецким писателем Гюнтером Гёрлихом. Из прилетевших на Дон поляков запомнился мне симпатичный Ежи Кжиштонь (впоследствии я встречал его в Варшаве и слышал потом о его трагической гибели). Другой поляк был, вероятно, совсем не поляк, а еврей, но его день рождения мы праздновали весьма хлебосольно. После очередного банкета утром я раскрыл гардероб и был поражен догадливости Миши Членова. Весь гардероб был уставлен бутылками коньяка и какого-то марочного, крепленого и сухого. Никогда бы не пришла мне в голову мысль о такой запасливости! С кем Членов поделился своей добычей, сие мне не известно. Я же использовал этот случай в рассказе «Одна из тысячи», чем лишний раз подставил свой «антисемитский» бок какому-нибудь проворному Льву Аннинскому.

Владимир Тендряков, который однажды увез меня с писательского съезда к себе на дачу, называл всех писателей-вологжан людьми «с душком», с антисемитским душком, разумеется. На даче Тендряков читал мне по секрету свой политический опус и так уморил, что я задремал в кресле. После чтения он показал мне свои довольно роскошные хоромы. Рядом была дача Твардовского. Под снисходительные тендряковские комментарии я с волнением издали глядел на Твардовского. Тендряков называл его Сашкой. Наверное, так же презрительно звал он и Александра Яшина, моего лучшего наставника. (Яшин утверждал, что Тендряков украл у него сюжет со свинаркой.) На каком-то совещании в Новосибирске я снова встречался с Тендряковым, тогда и попал в разряд людей «с душком», хотя не давал никакого повода. На том семинаре Анатолий Софронов запел песню на собственные слова. Вместо выступления... Не менее экзотичными были выходки некоторых лидеров и противоположного, еврейского лагеря. Не стоит сейчас их вспоминать, хотя и следовало бы. Твардовский и Яшин находились между двумя лагерями, им доставалось от тех и от этих.

...Александр Трифонович не дошел до тендряковского дома и скрылся на своей даче, а Тендряков, видя, что мне не интересен его манифест, не стал больше читать. Надо сказать, что в те времена я был во многом солидарен с Владимиром Федоровичем. Смущал меня только его излишний рационализм, какая-то эстетическая жесткость в его многочисленных повестях. Тендряковский быт с физкультурой и холодными купаниями тоже был жестко рациональным. Смерть не пощадила и этот рационализм с атеистическим «душком». Тендряков был полной противоположностью Владимиру Солоухину, ставшему довольно близким Александру Яшину. Земляк Яшина Феликс Кузнецов, мне кажется, не вызывал у Яшина таких симпатий, какие вызывал Солоухин. Александр Яковлевич, несмотря на всю свою бескомпромиссную натуру, был добр и совестлив, иной раз даже не-

сколько сентиментален. Однажды он при мне вернулся домой из ЦДЛ. Раздевался весь в слезах оттого, что не подал руки Леониду Соболеву...

Но я отвлекся от встречи с Шолоховым, о которой рассказывал Шукшину. Болгаро-Советский молодежный клуб с Любомиром Левчевым во главе все же сплотил довольно большую группу патриотически настроенных молодых людей. С русской стороны туда входили такие литераторы, как Палиевский и Семанов, Ланшиков и Михайлов, Валерий Ганичев и Валентин Сидоров. На втором или на третьем заседании появился Валентин Распутин. Все мы были тогда молоды и задиристы. (Но и сейчас со стыдом вспоминаю, что на Шипке я забыл снять свою кепчонку...) Не знаю, почему Михаил Александрович Шолохов несколько раз выделил меня среди интернациональной толпы. Во всяком случае, не потому, что меня выбрали вице-президентом. Мода на президентов внедрялась в наше сознание очень осторожно, со всей мягкостью. Вкрадчиво и постепенно. Ортодоксальный марксизм давно одряхлел. Русские изжили его уже во время очередной войны с Германией. Изжить-то изжили, но вся система держалась на страхе, а страх нагоняли еврейские бонзы либо их прислужники. В придачу многие из нас глубоко задумывались: что значит прогресс? Что такое атеистическая культура? А нам снова подсовывали Маркса и диамат. Я уже писал в какой-то статье, как библиотекарша Литинститута отказала в выдаче «Дневника» Достоевского.

В толпе, окружившей Шолохова, функционер ЦК ВЛКСМ Гена Серебряков давил мне на ботинок, чтобы я не сказал лишнего, но я и не говорил лишнего, я только спрашивал нечто лишнее. Даже вроде бы упрекнул Михаила Александровича за «Поднятую целину»... Я спросил, сколько надо было иметь пудов зерна, чтобы угодить в число раскулаченных. «Сорок пять пудов, — глухо промолвил Шолохов. — Иногда даже меньше». Что значили сорок пять пудов даже для иногородних, не говоря о коренных жителях Дона?

Я сказал, кого и как раскулачивали у нас на Севере, но клеветы Сергея Павлова быстренько усадили Шолохова в машину и увезли.

В доме, где прошло детство Шолохова, мы пели хором «По Дону гуляет» и другие донские песни. Казахский поэт, друг Евгения Евтушенко Олжас Сулейменов, тоже вскормленный нашим институтом, тут же гнусно и втихаря перефразировал песенные слова, получилось, что гуляют подонки. В эту минуту Михаил Александрович рассказывал венграм о конных схватках донцов с венгерскими конниками во время первой мировой войны. Много пили и вкусно ели, не зевал и казахский поэт Сулейменов. (Международная шпана сделала его потом представителем ЮНЕСКО.)

С клубом прилетел на Дон и Юрий Гагарин. Мы фотографировались над Доном, у того обрыва, где Григорий поил коня и встретил Аксинью. Гагарин был смоленским, Твардовский тоже смоленский. Мой отец лежит в смоленской земле сразу в трех могилах... Я хотел объединить все эти три обстоятельства и написать очерк об отце, о Гагарине и Твардовском. Обо всех троих. Я поделился в Москве своим замыслом с Макарычем. Его слова ошпарили меня как кипятком. Он слишком резко сказал о Гагарине: пьяница! Так резко, что у меня пропало желание писать очерк. Документализм повернулся ко мне новым, непредвиденным мною боком...

Рассуждая о сюжетной беллетристике, Шукшин кипятился: «Не хочу я читать эту надуманную литературу! Не верю я им, беллетристам!» Я спрашиваю: «Бунин — беллетрист?» — «Да, но Есенину я верю больше. Все-таки он барин, Бунин-то...»

Твардовский в своей статье о Бунине упомянул Белова и Лихоносова. Это окрылило меня, но еще больше насторожило московских критиков.

Макарыч не однажды писал мне и говаривал о своей душевной боли. Не помню, как я отвечал ему, говоря о собственном состоянии. Моя мать Анфиса Ивановна иногда пела трагическую по своей безысходности народную песенку:

*Все прошло и все пропало,
Снегу белого напало,
Все переменялось,
По шею навалилось.*

Это было, наверное, безблагодатное ощущение глубокой осени, предчувствие неминуемой старости, боязнь одиночества, ощущение того, что ничего хорошего впереди уже нет, один лишь холод зимы и слякотный ночной мрак. Но и в молодости что ей было ждать — моей матери? В младенчестве сирота, в детстве круглая сирота, в замужестве лишь два-три года была счастлива. Родила шестерых, в том числе и меня. Накатилась война. Мужа — опору семьи — убили на фронте, корову Березку пришлось сдать безжалостному государству, чтобы рассчитаться с налогами. Пятеро детей бедствуют, трое дома — птенцы неокрепшие, двое старших на неприятной чужбине. Даже амбарчик, рубленный ею вместе с Иваном Федоровичем, стоявший в родном огороде, раскатали и увезли. (Правление колхоза решило, что этот амбарчик в огороде Беловых стоит напрасно, его отдали под хлев фронтовику.) Бригадир Рябов, только что демобилизованный из армии (прозвище у него было Безменко), не постеснялся того, что Иван Федорович погиб на фронте, и увез от вдовы и сирот их любимый амбарчик.

* * *

...О, сколько было их на Руси, талантливых, но пропавших из-за сиротства, из-за тюрьмы или из-за обычной нужды! Горечь за таких ребят, которым были намертво закрыты дороги в искусство, в литературу и вообще «в люди», выражена мною в стихотворении, посвященном памяти таких, теперь уже умерших моих друзей, как Игорь Тихонов, Валерий Гаврилин, Николай Рубцов, Владимир Шириков, Александр Романов. Критики-демократы всех их оптом записывали в кагэбэшные пристегаи. Василий Шукшин, конечно же, шел по разряду таких же, хотя, подобно Гаврилину и Александру Романову, сумел пробиться к диплому. Вот это стихотворение:

*Нет, я не падал на колени
И не сгибался я в дугу,
Но я ушел из той деревни,
Что на зеленом берегу.
Через березовые склоны,
Через ольховые кусты,
Через еврейские заслоны
И комиссарские посты
Мостил я летом и зимою
Лесную гибельную гать...
Они рванулись вслед за мною,
Но не могли уже догнать.*

*Они гнались, гнались недаром,
Чтобы вернуть под сельский кров.
...Я уходил на дым пожаров,
На высыхающую кровь.
Под дикий свист вселенской злости
Вперед!.. еще немного вспять, —
Где ноют праведные кости
И слезы детские кипят.
Пускай одни земные кремни
Расскажут другу и врагу,
Куда я шел из той деревни,
Что на зеленом берегу.*

Эти строчки были написаны еще до смерти Макарыча, но он их не знал, я их просто прятал. Но мое литинститутское настроение он знал превосходно. В свободное время он не однажды навещал меня в общежитии. Во время скромного обеда в ЦДЛ, где мы отмечали сдачу «Такого парня», зашел разговор о поездке в Сростки. На студенческую стипендию летать в Сибирь, конечно, было начеисто. Я отнекивался, но Макарыч всерьез задумал такое путешествие. И однажды я сдался...

Мы выехали во Внуково и купили билеты на ближайший рейс (конечно, за счет Шукшина). Рейс откладывали, объясняя техническими причинами. Мы проголодались, изнервничались. Макарыч утянул меня в ресторан. Там мы услышали, что рейс на Бийск и вовсе отменили. Взбешенный Макарыч заказал коньяку... Каково же было мое удивление, когда девушка в справочном сообщила, что рейс отменили из-за малой нагрузки! С горя Макарыч начал дерзить милиции, я с трудом отводил его от опасности. Каким-то образом удалось благополучно уехать из Внукова. Так неудачна оказалась наша попытка слетать на Алтай.

При жизни Макарыча мне так и не удалось побывать на его родине. Прилетел я туда вместе с женой, когда его уже не было на свете.

Алтайские пейзажи оказались куда роскошнее и шире вологодских, они запомнились мне навсегда. Но Макарыч полюбил и мою родину, она была ему близка и понятна. Вологодчина ближе к Москве, Макарыч завидовал этой близости. Восемь часов — и дома... В один из приездов в Тимонику он всерьез хотел купить домишко около озера в нашем колхозе. Долго ходил вокруг этого озерного домика с есенинской березой под окном. Дом стоил всего какие-то гроши. У меня и этих грошей не имелось, а последние деньги Макарыча были вложены в какую-то подмосковную дачу. Семья его копилась, надо было содержать мать и учить племянника, денег всегда не хватало. Напрасно думают, что кино приносит большой доход. Впрочем, кому как. Макарыч к богатым отнюдь не принадлежал, я тем более. Он изо всех сил помогал мне пробить сценарии, это видно по письмам.

И ничего у нас не получалось, ничего! Мы наткнулись на какую-то невидимую паутину, сплетенную хитро, давно и основательно. Как он переживал, что я по дешевке отдал «Ленфильму» право экранизации повести «Привычное дело». Поставить фильм как следует режиссеру Ершову не дали времени. Может, он и сам не очень хотел ставить «как следует»? Жена Михаила Дудина Тарсанова легонечко обвела неопытного автора повести вокруг пальца. (Это повторилось позднее на телевидении.) Я был рад и тем жалким рублям, кои мне выплатили на «Ленфильме». Макарыч, когда узнал, то негодовал уже на меня:

«Жаль, что ты продал право на экранизацию. Очень жаль! Договор, что ли, есть? Это ужасно глупо, друже. Такие повести не пишутся каждый год. Если еще договора нет, не подписывай, скажи им, что передумал, что хотел бы участвовать в написании сценария хотя бы на пару с кем-нибудь. Облапошили, тираты! Повторяю, никуда бы они не делись! Как же так? Ведь тебе за такие деньги надо две книги писать. Ты же не фабрика! Ах, черти!.. Не стыдись их, если не поздно. Они сами никого не стыдятся. Пойми это. Уважай себя. Это грабеж среди бела дня. Небось, Нагибина не надуешь. Послушай ты меня: если не поздно, верни свое согласие на продажу права — поставь свое условие».

Увы, было уже поздно, договор с Тарсановой подписан и отослан...

В этом же письме Макарыч сообщал:

«Был у меня тут один разговор с этими...» (На что бесстрашен, и то некото-

рые слова вслух произносить побаивался.) *«Про нас с тобой говорят, что у нас это эпизод, что мы взлетели на волне, а дальше у нас не хватит культуры, что мы так и останемся — свидетелями, в рамках прожитой нами жизни, не больше. Неужели так? Неужели они правы? Нет, надо их как-то опружить...»*

Нам усиленно прививали всевозможные комплексы. Враги ненавидели нашу волю к борьбе. Тот, кто стремился отстоять свои кровные права, кто стремился к цели, кто понимал свое положение и осознал важность своей работы, кто защищал собственное достоинство, был для этих «культурников» самым опасным. Таких им надо было давить или душить, внушая комплекс неполноценности. *«И чего им всем не хватает? — писал Шукшин. — Злятся, подсиживают друг дружку, вредят, где только можно. Сколько бешенства, если ты чего-то добился, сходил, например, к начальству без их ведома. Перестанут даже здороваться...»*

Вспоминаю, как со смехом Шукшин рассказывал о мнимой ссоре с оператором Заболоцким. Оба притворились, что насмерть поссорились. Разошлись, так сказать, друг с дружкой. И сразу в мосфильмовских коридорах с обоими начали здороваться, останавливать и любезничать.

Мы оба извели снобистское презрение городской, главным образом пижонской стихии. Невидимая «табель о рангах» безотказно действовала в Москве, в Ленинграде, в Киеве и в Одессе. Сценарий кинокомедии даже с помощью Шукшина нигде не прошел. Везде вежливо отвергали. Шукшин страдал оттого, что не может мне помочь выбраться из нужды. История с «Ленфильмом» возмутила его. Съездил я в Ленинград на премьеру фильма и успокоился. Наплевать, что жена Дудина меня обдурила! На банкете по случаю просмотра меня притворно поздравляли, среди приглашенных были знаменитости вроде Лаврова и Смоктуновского. Своеобразная компенсация дурачку-автору...

Снобистскую, порой презрительную снисходительность к себе я чувствовал в не меньшей мере, и на каждом шагу старался забыть оскорбления и обиды. Но можно ли прощать и забывать прямое вранье? Да еще в печати? Как часто господа из редакций заворачивали авторов, ссылаясь на цензуру, тогда как авторы просто не годились мишам роциным! Если б не Яшин, я бы никогда не встретил и Твардовского...

В «Новом мире» у меня был приятель Юра Буртин, я считал его русским и говорил с ним без обиняков, честно. Это не помешало Юре углядеть в моих действиях антисемитские наклонности. Игорь Виноградов, сидевший в то время в редакции, в разговорах постоянно провоцировал антиеврейские темы. Однажды он при мне и Инне Борисовой заявил, что он чистокровный татарин. Его поздние статьи обнаруживают совсем иное происхождение автора.

Анну Самойловну Берзер, хотя она и забракела некоторые мои бухтины, я уважал больше, чем притворщиков, которые звали себя «татарами». Анна Самойловна была опытной журналисткой и, несмотря на некоторую специфичность своих взглядов, являлась прекрасной добропорядочной редакторшей. (По крайней мере, она не сюсюкала по поводу «умненьких глазок» и гардероба «деревенского мужичка». Кстати, гардероб-то у меня был вполне приличный, это Кондратовичу хотелось придать моим брюкам определенный вид.) Инна Борисова старалась быть не фамильярной и доброжелательной, более осторожной в суждениях. Не то что Игорь Виноградов...

Сейчас, читая письма вдовы Твардовского Марии Илларионовны, я вспоминаю первую встречу с Александром Трифоновичем. Мы говорили тогда о положе-

нии крестьянства. Моя позиция была вполне радикальна: надо устранить советское крепостное право и дать паспорта всем колхозникам. Александр Трифонович вдруг поднялся из-за стола во весь свой богатырский рост. Он вышел на середину кабинета и широко развел руками:

— Так ведь разбегутся же все!

Макарычу попадало от «французов» еще больше, чем мне. Лидия Федосеева, мать двух дочерей Шукшина, в те времена была единомышленна с мужем, по крайней мере, мне так представлялось.

* * *

Все время я сбиваюсь на собственную биографию. Но что делать? Судьба Шукшина была так родственна мне, так похожа, что приходится «якать», объясняя сходство в событиях и в отношении к этим событиям.

Как-то я привез в Москву и подарил Макарычу икону начала XVII века (может, и конца). Он жил тогда без постоянного пристанища и оставил икону на какой-то квартире. Хозяин квартиры (киношник) похвастал не своей иконой, а вологодский художник Николай Бурмагин ездил в Москву и услышал, что Белов якобы с помощью Шукшина избавился от шедевра... Христос-Эммануил оказался в ведении одного из шукшинских «благодетелей», у которого Шукшин раз или два ночевал. Бурмагин смеялся над моей близорукостью, я обиделся на Макарыча и, наверное, высказал эту обиду в каком-то письме...

По приезде моем в столицу мы в тот же день вместе двинулись выручать икону. Это оказалось не простым делом. Икону киношник возвращать не хотел. Макарычу пришлось сунуть ему четвертной, чтобы забрать свою же икону. За хранение, что ли?

Шукшин искренне радовался, что вернул себе мой подарок. Киношник (не помню его фамилии) активно сопротивлялся, но деваться ему было некуда...

Двигался ли к Богу сам Шукшин? Мне кажется, да. Некоторые его поступки указывали на это вполне определенно, не говоря о литературных. Вспомним кое-какие его рассказы, хотя бы «Залетный» в сборнике «Земляки», изданном в 1970 году.

Долго и труден наш путь к Богу после многих десятилетий марксистского атеизма! Двигаться по этому пути надо хотя бы с друзьями, но колоннами к Богу не приближаются. Коллективное движение возможно лишь в противоположную сторону...

Мое отношение к пляшущему попу (рассказ «Верую») и при Макарыче было отрицательным, но я, не желая ссориться с автором, не говорил ему об этом. Сам пробуждался только-только... Страна была все еще заморожена атеистическим холодом. Лишь отдельные места, редкие проталины, вроде Псково-Печорского монастыря, подтачивали холодный коммуно-еврейский айсберг. Но и такие места погоду в безбожной России еще не делали. Однажды я оказался свидетелем встречи фальшивого печорского монаха с новомировцем Юрием Буртиным. Этот «монах» (наверняка с одобрения КГБ) проник в Печорский монастырь со своими тайными целями, жил там несколько лет и собрал, записал большой компромат на всех насельников. Теперь он решил извлечь из этого компромата материальную выгоду и притащил свои записи в «Новый мир». С Буртиным у меня были хорошие отношения, тогда он успешно громил «заединщиков» вроде Грибачева, Маркова и других официозных писателей. Двери к Буртину для меня были всегда

открыты, не то что к Кондратовичу или к Дементьеву. (Эти не давали Александру Трифоновичу без них шагу ступить, либеральный конвой шутить не любит.)

Меня запросто занесло в закуток к Буртину. Там как раз сидел этот самый «монах». Насколько помню, Юра смутился, «монах» и при мне увлеченно клеймил монастырских насельников. Показывал в доказательство фотографии и чуть не захлебывался в своих обличениях, считая, что он в среде единомышленников. Но даже Буртин морщился от бесовских восторгов доносчика. Юра быстро свернул разговор к необязательному обещанию познакомиться с рукописью.

В ту пору я читал на квартире у Буртина подпольно распространяемую книгу Авторханова «Технология власти», где имелись подробности троцкистско-бухаринского бунта против Сталина. Глаза открывались медленно, ведь мы почти ничего не знали. Проходили отдаленные слухи о ленинградских юношах, создавших ВСХСОН — тайную организацию с христианской идеологией. Шукшин жадно ловил эти слухи и делился ими со мной и Анатолием Заболоцким. Попадал к Макарычу и журнал В. Осипова «Вече». Какая-то дама, вроде бы жена Фатей Яковлевича Шипунова, встретила нас на лестнице студии имени Горького. Она заговорила о журнале «Вече». Но мы оба, боясь провокации, откровенными с ней не стали. Фатей был странным сибиряком и отпугивал шумной своей откровенностью. Владимир Осипов тоже ведь был откровенен, и, может, зря мы боялись распространителей журнала «Вече»? На Руси уже тогда имелись смелые, мужественные, не подставные ее защитники. Правда, почти все из них сидели по тюрьмам...

Макарыч безжалостно тратился на фотокопии недоступных простому читателю книг, таких, как авторхановская «Технология» или книги В.В. Розанова, талантливейшего, несколько демонического представителя русской журналистики. Даже «Историю кабаков» Макарыч вынужден был переснимать, не говоря о более серьезной литературе. Он жадно поглощал запретные тексты, отснятые на фотобумаге мелким, вредным для глаз шрифтом. Многим из нас такой шрифт основательно портил зрение. Книг не было!

Мне уже приходилось писать, что еврейские диссиденты возили из-за границы то, что надо было именно им, еврейским диссидентам, отнюдь не нам, русским. Помню, в Германии при посещении православного монастыря мне подарили крохотную брошюру о Карле Марксе. Какой-то венгерский автор, тоже, впрочем, еврей, написал правду о Марксе, о его сатанизме. Я был поражен открытием, хотел привезти книжечку домой, но в последний момент струсил, выбросил в гостиничную урну. Жаль. Всем коммунистам надо было знать про эту книжицу. Она не дошла до России и до сих пор, ее сюда не пускают и еще долго не пустят.

* * *

Шукшин все время звал меня в Москву. Если б я и захотел жить в Москве, я не смог бы это осуществить, мне там никто не припас жилья. Но я и не рвался туда. Мой друг ревновал меня к Вологде, завидовал возможности в любое время укрыться в деревне от столичных невзгод. Но совсем без Москвы тоже было невозможно, Москва печатала, кормила, поила, несмотря на обилие недругов.

Анатолий Заболоцкий правдиво описывает знакомство с Макарычем и свою жизнь в Минске. Шукшин искал верных друзей. Ради него Толя сменял минскую квартиру на московскую и обосновался в столице. Шукшин хотел, чтобы так же сделал и я, да Москву на Вологду тогда не меняли. Не много было у него настоя-

сих друзей! Сростки с матерью далеко, да и делать режиссеру в Сростках нечего. Нужна Москва...

К тому времени я окончил институт, но в Москву то и дело приходилось ездить. Полтысячи километров — это все же не то, что летать на Алтай. Хотя нужда тоже иногда подпирала. Но я не был избалованным. Дали вологодские власти какую-то квартиренку, и ладно. (С годами вселился в настоящую трехкомнатную.)

В один из московских приездов я прямо с вокзала залетел к Шукшину в Свиблово, где уже ночевал однажды. Но его дома не оказалось. Лида сказала, что он дома не живет, и где он сейчас, она будто бы не знает. Знала, конечно, и намекнула на Заболоцкого.

У Толи оказалась довольно большая, но какая-то пустынная, похожая на рубцовскую, комната. Из мебели стол да кровать. Еще имелась раскладушка, которую и захватил беглый, совершенно трезвый и даже веселый Макарыч. На полу около раскладушки валялись бумаги и прошнурованные фотокопии запретных книг. В ответ на мой вопросительный взгляд Макарыч крикнул:

— Да не могу я с ней сладить! Вот к Толе сбежал... Пьем кофе и думаем.

Толя снова поставил чайник.

Ни у одного из нас интеллигентской привычки вести дневник не было. Мы ничего никогда не записывали. Может, напрасно? Память запечатлела многие острые разговоры. В тот раз мы говорили о странном сходстве евреев с женщинами, вспомнили, что говаривал о женщинах Пушкин. Дома в Вологде у меня имелся случайный томик Пушкина. На 39-й странице есть такой текст: «Браните мужчин вообще, разбирайте все их пороки, ни один не подумает заступиться. Но дотроньтесь сатирически до прекрасного пола — все женщины восстанут на вас единодушно — они составляют один народ, одну секту». («Как евреи» — это была моя добавка к Пушкину.)

Говорили о «нечаевщине», описанной Достоевским в «Бесах». Шукшин от волнения даже вскочил. Этот роман Федора Михайловича он считал самым потрясающим.

А чем нас воспитывали, чему учили в детстве и юности? «Оводом» Войнич да «Чапаевым» Фурманова, горьковским «Челкашом» в придачу. Хорошо, если окажется под рукой «Хождение по мукам» Алексея Толстого либо «Железный поток» Серафимовича. Есенина с Клюевым не было и в помине. В школьных шкафах сплошь Жаровы да Чуковские. Лермонтов до сих пор прощается с «немытой Россией», прощался бы еще, да подоспел Бушин со своей статьей.

Говорили в тот день и о требовании ленинградских коммунистов изменить Устав партии. Откуда-то Макарыч расчухал, что ленинградцы требуют ограничить прием в партию женщин. Мы оба выражали ленинградцам тайную солидарность. Шукшин вообще относился к женщинам здраво, то есть где всерьез, а где с юмором. Высмеивал моду, стремление женщин подражать мужикам в одежде и в физической силе, страдал от «бабьих» потуг обходиться без мужей в обеспечении семьи. Уже тогда шла психологическая атака на традиционные семейные ценности.

Мы оба были против западных «ценностей», пропагандируемых «Свободой» и «Свободной Европой». Как ни глушил будущий перестройщик А.Н. Яковлев эти радиостанции, забугорные передатчики были такими мощными, что сплошной грохот генераторов не мог как следует заглушить западные голоса. Позднее я узнал, что глушились уже и те американские передачи, которые были невыгодны «мировой закулисе», «лучшему немцу» и всей его перестройке. Но глушились уже не нами, а самими американцами или их европейскими пристегаями. Как я

узнал это? Очень просто. После поездки в США и моего выступления на «Свободе» я сходил к А.Н. Яковлеву и, притворившись простачком, спросил, работают ли в Европе наши глушилки. «Нет, давно уже не работают», — ответил Александр Николаевич, главный наш перестройщик. Да, наши глушилки и впрямь уже бездействовали. Тогда кто же глушил мое выступление? Конечно, я не сказал Яковлеву, что выступал на «Свободе», что меня глушили его же западные хозяева. А то, что глушили — это был факт. Не могло тут быть никакой ошибки, цензура была всемирна. Мои друзья в Европе слушали мое выступление на радио «Свобода», вдруг началось завывание генераторов. Европейские глушилки включались, когда кто-то намеренно или ошибочно говорил по «Свободе» что-то невыгодное «мировой закулисе». Тут уж были бессильны все, даже самые матерые балканские диссиденты, не то что какой-то там «россиянин» вроде Белова. Надежда на свободную Европу была явно худая. Жаль, я уже не мог рассказать об этой истории Макарычу, среди живых его уже не было.

Мы собирали правдивую информацию по крупицам, в том числе и с помощью той книжечки, что я выбросил в гостинице Франкфурта. Вот почему бесились и брызгали на нас ядом ярые столичные культуртрегеры, внушавшие нам комплекс бескультурья и малых наших возможностей.

Я стеснялся ночевать в Свиблове у Макарыча, когда приезжал в Москву. Однажды в ту пору, когда он еще прикладывался к алкоголю, Лида в слезах открыла дверь свибловской квартиры. Я приезжал всегда утром, а тут был, кажется, вечер. Маши в проходной комнате не было, она, видимо, спала в маленькой, следующей. Шукшин хмуро сидел за столом с бокалом сухого вина в руке. У дверей стоял большой чемодан.

— Мы разводимся, — сказала Лида, заметив мое недоумение по поводу чемодана.

Макарыч подтвердил ее слова и сильно сдавил в кулаке бокал с красным вином. Бокал хрустнул, осколки посуды с остатками вина были зажаты в его кулаке. Было удивительно, как он не поранил руку. Мои жалкие утешения на него не действовали. Он глухо, но отчетливо запел свою любимую сибирскую:

*Миленький ты мой,
Возьми меня с собой,
Там, в краю далеком
Буду тебе я женой.
Милая моя,
Взял бы я тебя,
Там, в краю далеком
Есть у меня жена...*

По-видимому, эта песня сопровождала Макарыча постоянно с тех пор, как он оставил в Сибири мать, первую жену, сестру и маленького племянника. Тоска по родине, боль за близких все эти годы ни на минуту не покидали его. Москва сдавалась ему очень медленно. Наконец он заимел свою квартиру и мог уединиться хотя бы на кухне. Что же опять лишило покоя обитателей этой небольшой, прямо скажем, тесной квартиры?..

Когда я спросил Макарыча о причине очередного скандала, он отмахнулся: «Деньги... Бабам нужны деньги, больше им ничего не нужно... Я удочерил девочку... Ну, ту, которая у Вики. А то больно уж непонятная фамилия...»

Я вспыхнул, только сейчас соображая, в чем дело...

В книге А.Д. Заболоцкого «Шукшин в жизни и на экране» подробно отражено, как создавалась кинокартина «Калина красная». Многие эпизоды фильма снимались на Вологодчине. С островом Сладким я был знаком через майора Леонида Буркова, который служил в УВД. Это был добрейший человек, пробудивший у Александра Яшина интерес к острову. Своего земляка Сергея Орлова Бурков, сколько ни приглашал в эту режимную, к тому году закрытую колонию, не мог туда увлечь. Майору Буркову помогал Евгений Макаровский, будучи секретарем Белозерского РК КПСС. Яшин живо откликнулся на приглашение и приехал на остров вместе с семьей. Он страстно увлекался рыбалкой, ежедневно ездил по озеру с дорожкой и спиннингом, успешно ловил крупную рыбу.

Остров, собственно, был не один, а два: главный, большой считался непосредственно монастырем, его мощные стены вымахивали прямо из озерных глубин, образуя романтическую средневековую крепость. В бывших кельях содержались особо опасные узники, кажется, даже смертники и заключенные с громадными сроками, поскольку за каждый побег срок прогрессивно увеличивался.

Прибрежный колхоз имени Карла Либкнехта кормил и обслуживал колонию, но к тому времени учреждение прикрыли. (Мужики свой колхоз звали «Карл Липкин», он захирел со временем, а колонию забросили.)

Рядом с монастырем-крепостью был второй остров, где проходили когда-то ярмарочные праздники, отчего и называли его Сладким. Крепость соединялась с островом свайным мостом.

Мы с Александром Яшиным обследовали все камеры и всю лагерную систему охраны. Зона делилась когда-то на две части — бытовую и производственную. Лодки въезжали прямо в крепостные ворота. Пилорама была заброшена, везде валялись лагерные бумаги и всякие остатки «прежней роскоши», вроде банных тазов. Бараки для охраны и дома лагерного начальства сохранились, и некоторые использовались для хранения сена. Яшины выбрали себе пустующий дом. В «кабинет» для Александра Яковлевича жена сторожа подобрала письменный стол, принадлежавший какому-то лагерному начальнику. Я приезжал навестить Яшиных вместе с директором издательства Владимиром Малковым и Аркадием Сухаревым.

Когда снимали «Калину красную», крепость и вся система охраны, бараки и камеры — все было восстановлено. Со дня на день я откладывал поездку на остров Сладкий, да так и не съездил. Побывал у Шукшина лишь в Белозерске. Макарыч обрадовался встрече, показал брошенную кем-то квартирнку в деревянном доме. Они с женой ночевали тут по-походному. Подарил мне дореволюционную книжечку Горбунова, взятую у какой-то белозерской старушки. Он знал, что я увлекался этим великолепным рассказчиком, совмещавшим в себе писателя и прекрасного артиста. Горбуновские миниатюры неповторимы. Я вслух зачитал про пушку...

Макарыч искренне смеялся, но ощущалась какая-то подкожная грусть, я видел его нутряную усталость. Картина, видимо, совсем его вымотала. В штабе съемочной группы в Доме колхозника он поспешно распорядился, кому что делать, раздраженно объяснился с нерадивым мосфильмовским работником. Я ушел, чтобы не мешать, и попал в цепкие руки какого-то фотографа. Из «штаба» мы на автобусе уехали к месту съемок в деревню, где жила брошенная сыновьями старушка.

Ощущалась не только физическая усталость Макарыча, но и моральная. Он

был раздражен политикой «Мосфильма» в отношении «Калины красной». То пленку дают второсортную, то плохую аппаратуру. То слишком долго не проявляют отснятый материал, а затем торопят снимать и требуют план. Кое-кто из актеров не приехал. Саботажники проявлялись внутри сложившегося съемочного коллектива. А еще Макарычу было стыдно за поведение некоторых участников группы. Москвичи дружно ударились в поиски антиквариата... Когда он говорил об этом, мне вспомнилось выражение одного известного человека об ученых, где ученые сравнивались с туземцами, которые после крушения корабля ищут на берегу выброшенные морем матросские пожитки... Собиратели антиквариата были тоже очень похожи на этих ученых-туземцев. Но москвичи не подозревали, какое крушение постигло вологодских аборигенов. Действительно, как много было накоплено икон, самоваров и прялок жителями Белозерска с тех пор, как Белозерский полк весь целиком полег на Мамаевом побоище! Русские иконы обнаружены даже на Мадагаскаре, крестьянские прялки с опиленными копыльями возят сейчас по Америке и Европе...

Кому-кому, а уж Макарычу-то было понятно, какое крушение потерпел российский корабль. Тоска стлыла в глазах Шукшина, когда он снимал документальные кадры в деревне под Белозерском...

Баня, купленная «Мосфильмом», стояла у небольшого озера, одна стена у нее была выпилена. Не знаю, построил ли «Мосфильм» местному колхознику новую баню. (Ходил слух, что так ничего и не было сделано.) На другом берегу озера стояла заброшенная церковка. Мы съездили туда на лодке. Макарыч выбрал для этого время. Вот и тот пригорок, на котором пластался от горя шукшинский герой. Пластался, по сути, не персонаж «Калины», а сам Шукшин...

В заулке между двумя избами снимали незначительный эпизод. Заболоцкий со своей камерой нервничал, стоял на стреме, а Макарыч застопорил съемку, ему чем-то не понравился сценарный текст. «Придумай мне диалог, надо две-три живых фразы!» — обратился он ко мне и объяснил, что надо было переделать в разговоре родителей Любы. Я отказался. Тогда Макарыч сел на крылечко соседнего дома с карандашом и рабочей тетрадью. (Да, он на ходу придумывал во время съемок новые сценарные диалоги, сочинял новые эпизоды.) Все отошли в сторону. Ждали. Он сидел минуты две, не больше, черкал что-то в тетради. Затем порывисто встал, поговорил с двумя актерами, с оператором. И вдруг скомандовал: «Начали. Пошел!»

Все это было любопытно, однако мало меня заражало. Послonyaлся я немного по деревне, поглазел на скучную съемочную площадку. К этому времени Заболоцкий в двух дублях снял эпизод. Макарыч сказал мне: «Давай хоть снимемся на память... Когда еще будет такая возможность!». Он кивнул фотографу Гневашеву, и мы уселись в фоне дровяной поленницы.

Вскоре объявили обеденный перерыв, привезли горячий обед, а я уехал с томиком Горбунова в Белозерск, а потом и в Вологду.

Макарыч так и не смог всерьез заразить меня кинематографией, она по-прежнему представлялась мне каким-то модным, не очень серьезным занятием... С годами такой мой взгляд на кино не только не менялся, но укрепился еще больше. Кино для меня и сейчас есть нечто несерьезное, а порой даже вредное, похожее в чем-то на конкурсы красоты или на демонстрации дорогих шуб и дамских туалетов.

Уже чуть ли не полвека прошло со времени моего знакомства с Макарычем, а литературная катавасия вокруг его имени ни на минуту не останавливалась. Шукшин все эти годы был в центре борьбы за национальную, а не интернационально-еврейскую Россию. Теперь для многих уж не страшен антисемитский ярлык, но знает ли основная масса русских и нерусских людей, заколдованная телевидением, разницу, например, между Леонидом Бородиным и «правозащитником» Ковалевым? Разницу между Юрием Селезневым и критиком Аннинским? Я уверен: не знает. Золотушные правозащитники типа Ковалева на Руси по-прежнему популярны, словно дешевенькие певички. О своих настоящих защитниках страна не ведает. Ко всему этому мы еще попались и в другую, теперь уже денежную ловушку. Пока не поймем, что интернационалистская ловушка и новая «демократическая» — это одно и то же, нам грозят все новые и новые капканы, изобретаемые на другом берегу Атлантики для всех племен и народов.

«Ванька, смотри!» Шукшинское завещание — название сказки — было злободневно все эти годы. Оно долго еще будет необходимо России. Государство выдержит, переварит в себе очередную свою перестройку или перетряску, как переварила Россия троцкистский набег в начале и в первой части прошлого века. Если будем глядеть в оба...

В одном из писем, которые я приводил выше, Шукшин обвинял себя:

«Вспомнил, как я тебе писал всегда — все что-то нехорошо на душе, нехорошо, и я все вроде жалею, что ли. Не знаю, за что я расплачиваюсь...»

Письмо написано красными, словно кровь, чернилами. Имелась в нем такая приписка:

«Разина» закрыли... В «Новом мире» больше не берут печатать, взял оттуда свои рассказы. Но все же душа не потому ноет. Нет. Это я все понимаю. Что-то больше и хуже. Жду письма или самого.»

Не помню, как я ему ответил, но его душевная боль имела то же происхождение, что и моя. Корень ее был крестьянский. «Классовый», как сказал бы добросовестный троцкист, натасканный в совпартшколе, обязанный тявкать на врагов пролетариата. Троцкисты-большевики не только тявкали, в 20-х годах они еще и «трудились», «работали» не покладая рук. Не знаю, читал ли Макарыч повесть земляка своего Зазубрина. Она называется «Щепка». Вроде бы он уже читал эту повесть. Не могу категорично судить о том, что он читал к тому времени, когда писал мне о душевной боли. Приходилось даже скрывать, что читаешь. Шутить с андроповскими ребятами нельзя было, история ВСХОН продемонстрировала это со всей очевидностью.

Шукшинская душевная боль имела явно общероссийские масштабы, мы унаследовали эту боль от собственных матерей и погибших отцов. Сходство Марии Сергеевны, которую я впервые увидел на похоронах ее сына, это сходство с Анфисой Ивановной было просто потрясающим! Все манеры, все интонации в голосе, даже бытовые привычки оказались теми же... Лишь выговор был у нее несколько иной, сибирский. Все остальное оказалось таким же... Мое почитание своей родительницы было не досконально-нежным, как у Макарыча. Нередко я грубил своей матери, проявляя несдержанность. Еще в детстве я почему-то стыдился родительской нежности. Помню это ощущение стыдливости даже по общению с отцом, не только с матерью. Не воспитала Анфиса Ивановна во мне чего-то такого, что имелось у Макарыча. Я стеснялся открыто, как он, выражать свои чувства к мате-

ри. Такая стеснительность распространялась иногда и на всех прочих, в том числе и на Макарыча... Я мог неожиданно сгрубить либо оскорбить неуместным молчанием самых верных своих друзей. Это случалось иной раз и по отношению к А.Я. Яшину, Федору Абрамову, Николаю Рубцову. (Рубцов, по моим теперешним представлениям, и сам был точно таким же, несмотря на сиротство. Из-за своей природной стеснительности жил он скрытно и потому многим казался угрюмым, необщительным. Вероятно для того, чтобы придушить это вечное чувство стеснительности, особенно в отношении женщин, Рубцов научился еще в молодости прикладываться к бутылке. Разве один Рубцов? И разве только в молодости? По себе знаю, что и в общении с начальством, и в общении с той средой, от которой материально зависишь, очень часто требовалась банальная выпивка...)

Но мифы о моих друзьях, как о вечно пьяных, развеяны временем. От этих фальшивых мифов не осталось даже следа. Подобно Рубцову, Шукшин любил жизнь во всех ее проявлениях.

Помню, как он смеялся, когда гуртом разбиралось какое-либо смешное слово. Любил он и остроумные анекдоты, они часто скрашивали тревожную невеселую жизнь. Любимый анекдот Макарыча достоин того, чтобы его сейчас вспомнить:

«На окраине деревни у развилки дорог рукодельные щиты-лозунги, обязательства: дадим государству масла столько-то центнеров, хлеба столько-то пудов, шерсти столько-то тонн, яиц и т.д. У лозунгов неподвижно стоит босой мужик, а сапоги, связанные верёвочкой, у него на плече. Он молча читает весь перечень обязательств и вдруг говорит вслух: «Вот жмут! Вот жмут?!». На плечо ему опускается рука, и он видит уполномоченного, который наступательно спрашивает: «Кто это жмет?» Мужик от неожиданности оробел на мгновение и ответил: «Сапоги жмут!» — «Сволочь, ведь ты же босой!». Мужик уже победно и без паузы: «Вот от того и босой, что жмут!»

Макарыч смеялся своим глуховатым, негромким, но заразительным смехом.

Такая народная сценка вполне подошла бы к любому фильму. Макарыч знал это и без меня. Он, конечно, снял бы ее, но... Ленты его и без таких сценок безжалостно резали. Давать профессиональные советы я не имел права.

* * *

Он по-прежнему звал меня в Москву, предложил даже как-то сниматься в роли Матвея — сподвижника Разина. Я расхохотался, а он недоумевал, почему это я не хочу сниматься? У него уже имелся опыт общения с писателями, которые с удовольствием откликались на его режиссерские просьбы. Началось еще с Бэллочки Ахмадулиной. Некоторые дамы напрашивались. Покойный Глеб Горышин тоже однажды причастился к этому виду деятельности. Конечно, я вытерпел бы оплеуху, которую по сценарию должен был вклеить Стенька своему крестьянскому сподвижнику. Но дело не в оплеухе... Даже театр постепенно утрачивал для меня свой заманчивый ореол, хотя мои пьесы шли в десятках провинциальных театров, ставились и в некоторых столичных, в том числе и академических. Когда-нибудь я расскажу читателям о моих театральных приключениях с участием лицедействующей братии...

Михаил Александрович Ульянов, подобно Любимову, пробовал инсценировать мою прозу, но это меня покорило еще больше, чем на Таганке. Инсценировка Ульянова оказалась беспомощной. Вместо того, чтобы помочь Ульянову что-то

сделать, я предложил ему пьесу. Думал, получится так, как с Малым театром. Получилось нечто противоположное, Ульянов не пожелал со мною сотрудничать... Но я отнюдь не поэтому считаю его неискренним. Перечитайте его интервью о Шукшине в «Российской исторической газете» (№7, 1999). Надо знать, во-первых, что эту газетку срочно придумали в противовес настоящей исторической, которую редактирует Анатолий Парпара. (Испугались либерал-демократы и сварганили свою «историческую».) Вот в этом желтоватом листке и напечатал свои противоречивые, во многом лживые измышления Михаил Ульянов. По случаю 70-летия Шукшина газетка, конечно, начала не с Шукшина, а со слащавого панегирика Андрею Тарковскому. «Надо меньше чувствовать и больше думать», — крупным шрифтом сообщает газетка слова «киногения». Но еще занятнее рассуждает о «чувствах» Михаил Ульянов: «Он неразговорчивый человек, — вещает мэтр о В.М. Шукшине. — Перекинулись... и расстались. В тот раз отношения не завязались». На этом бы Михаилу Александровичу и остановиться, потому что отношения не завязались и дальше, а он врет: «То было как озарение! Читая Шукшина, я находил для себя...» И т.д. Сплошь лицемерие. «Шукшин стал мне жизненно необходим. Я загорелся идеей поставить его пьесу-сказку...»

Ах, Михаил Александрович, если б вы загорелись, так и поставили бы, но вы не загорелись и не поставили. Ваша трактовка пьесы, помещенная в этом интервью, вполне подтверждает именно эту мысль, а не какую-либо иную... «Передо мной стояла задача, — пишете вы, — придать фантазмагорической пьесе реалистическое звучание». Вы называете пьесу «фантазмагорической»? Странно. «Спектакль начинал скоморох-зазывала разными шутками-прибаутками: «А вот я пришел вас позабавить, с праздником поздравить! Здорово, ребятишки! Здорово, парнишки! Бонжур, славные девчушки, быстроглазые вострушки! Бонжур и вам, нарумяненные старушки! Держите ушки на макушке! Ну, друзья, нечего крутить на карусели, заходите посмотреть, как пляшут мамзели! А мне бросайте в шапку медяки, да не копейки, а пятаки!»

Ух, сколько тут восклицательных знаков... От всего этого Шукшин начал бы плевать. По ульяновской добавке можно судить об эстетических возможностях автора, продолжившего статью такими словами: «... в сцене столкновения монастыря с чертями я отметил не святость, а скотство всех этих обитателей монастыря с их вседозволенностью, которая выводит их за грань духовного, человеческого». Каково! Приписать монахам свойства чертей мог только Ульянов. «Меня постигла неудача», — признается он дальше, а мы добавим: «И хорошо, Михаил Александрович, что она вас постигла». Ваши мысли о Георгии Буркове тоже ошибочны, но этот грешок уже помельче...

Итак, мое отношение к кинематографу было очень нетрадиционным. Я считал, что коллективное творчество — это слишком тяжеловесное творчество, а в кино в особенности. Все эти множественные дубли, муторные повторы, чтоб снять какую-то совсем, может быть, необязательную сцену вроде ссохшихся сапог. Эти дубли позднее отбирались, монтировались, их стригли, клеили, переставляли местами. Участвует уйма народу. В такой пестрой обстановке, в атмосфере суеты и всякой возни искусство, по-моему, улетучивается. Даже в театре, когда актера превращают в марионетку, как делает это Любимов, оно исчезает. И, на мой взгляд, напрасно один из наших общих с Макарычем друзей, Федор Абрамов, восторгался работой Любимова, поставившего спектакль «Деревянные кони». Я побывал на спектаклях по Абрамову и Можаяву. Знаю, что это за работа, хотя бы

у того же Любимова. Когда режиссер начал из двух моих повестей выкраивать нечто, понятное ему одному, я пресек общение с Таганкой. Опыт с Малым театром был несколько удачнее. Драматургия увлекала меня несколько лет. Пьесы шли, писать их было интересно. Этот альянс был ликвидирован лишь во времена Ельцина, слишком я был чужой тому, что началось в стране...

Разумеется, определенную часть души я отдал и кинематографу, еще в детстве и юности. Радовался великолепным актерским работам Жана Габена и некоторым фильмам итальянцев. И в Америке, по-моему, ненадолго, появлялось более-менее сносное кино. Вспомним хотя бы «Раз картошка, два картошка» или «Скованные одной цепью». Вскоре дурные подражательские фильмы отечественных и зарубежных деятелей сотнями потекли на наши экраны, они тушили мой интерес к кино. Думаю, что не только мой. Порнография совсем доконала кинематограф.

Знакомство с Макарычем несколько обновило мои отношения с кино, убедило меня в том, что искусство кино может существовать, если в одном лице совмещается сценарист, актер и постановщик. Плюс кинооператор — единомышленник постановщику. Лишь при этом довольно редком условии можно считать, что подлинное искусство с трудом, но все-таки пробивается из духоты условностей при создании фильма. (Так пробивается печной огонь, заглушаемый дымом, производимым самими же дровами, не желающими сразу вспыхнуть и гореть в полную силу.) И сейчас, на пороге семидесятилетия (жизнь, в общем-то, прожита), я думаю точно так же...

Может, мои требования к театру и кино, искусству как таковому, слишком завышены? Нет, нет и еще раз нет! Я благодарен судьбе, что я занижал их только по собственному малодушию, только из-за нужды либо из-за неблагоприятных внешних условий. И я счастлив, что сохранил в сердце трепетное отношение к понятию «искусство», что благодаря этому почти все, что мною сделано, кажется мелким, порою ненужным, заставляя краснеть. Стыдно и за то, что я был максималистом по отношению к другим, когда самому приходилось халтурить, изворачиваться...

А как работал, например, Николай Васильевич Гоголь или современник его художник Иванов? Гоголь рекомендовал писателю переписывать свои сочинения до девяти раз... (Это тогда, когда не было ни печатных машинок, ни компьютеров. Каждый листок надо было написать своей рукой. Но, может, и лучше, что своей-то рукой?)

В кино, как мне казалось, вообще невозможно избежать отчуждения. Шукшин, поддерживаемый Заболоцким, нехотя сопротивлялся моим доводам. Он доказывал преимущества кино, говорил о возможности общаться сразу с миллионями. Такая возможность была для него весьма дорога, заманчива и, на мой взгляд, обманчива. Признавая массовость, зрелищность, я говорил, что книга все равно надежнее целлулоидной ленты, даже в смысле физическом. Того же мнения, насколько мне известно, придерживались и Леонид Леонов, и Михаил Шолохов.

* * *

Весть о внезапной шукшинской смерти застала меня в деревне. Жена по телефону сообщила об этом ужасном событии. Не очень хорошо запомнил я все последующие дни и часы. От горя из памяти выпали важные разговоры и встречи со значительными людьми. Не стало самого верного друга, и многое вообще потеряло значение!

Насколько помню, главную тяжесть похорон Макарыча принял на свои плечи А.Д. Заболоцкий.

...Мой Христос-Эммануил стоял на полочке в квартире на улице Русанова. Серая шукшинская кепка и шарф, присланные из Волгограда, сиротливо лежали на письменном столе Макарыча. Сам он в это время находился в морге института им. Склифосовского. Мы с Толей и еще с кем-то (с кем — не помню) проникли в это печальное место. Макарыч, словно живой, лежал на постаменте. Это возвышение было то ли мраморное, то ли обитое жостью. Казалось, что трагическое выражение в шукшинском облике появлялось по мере того, как мы вглядывались в его такое родное, такое близкое лицо, уже подернутое смертельным бескровием. Кажется, нас торопили...

Нам еще сообщили, что будет производиться патолого-анатомическое исследование. Этого исследования почему-то не произошло. Кто-то из начальства распорядился не делать повторного вскрытия в институте. Достаточно, мол, и одного, волгоградского. Тело поспешно перевезли в Дом кино...

Очередь желающих попрощаться с Шукшиным повергла в изумление даже гугнивого Евтушенко. В Доме кино кинематографические бонзы хватали нарукавные повязки и суетливо сменялись у гроба нашего друга. Кто-то что-то делал, кто-то что-то говорил... Гроб завален был красными гроздьями. На Новодевичье приехало так много народу, что я с трудом сквозь густую толпу пробрался ближе к Макарычу. В давке пришлось пролезать под гробом... У Заболоцкого написано обо всем этом лучше, я же и сейчас не могу спокойно рассказать об этих похоронах...

Время, несмотря на общественные трагедии, не залечило две душевные раны: это кончина Анфисы Ивановны и смерть Шукшина. Недавняя смерть старшего брата Юрия и Саши Романова наложила на незажившие раны. Без нашего ведома растут скорбные списки. Рушатся даже бетонные памятники...

* * *

После смерти Макарыча я выбрал наконец время для поездки в Сростки и в Бийск, где доживала свои последние месяцы Мария Сергеевна. Она невероятно тосковала по сыну, болела как раз от этой тоски. Она до слез обрадовалась моему приезду и много рассказывала о его детстве.

Существовали эпизоды, о коих я не подозревал. Например, история с уткой, открывшая матери актерские способности сына. Собирали что-то съестное на болоте, что-то из растительности (не помню название). За этой работой он сказал: «Мама, хочешь, сейчас к нам прилетит утка?» Она изумилась: как может прилететь утка? А Вася громко крикнул, подражая утке. И вдруг большой красивый селезень прилетел откуда-то и уселся совсем рядом.

Оказывается, еще в детстве Шукшин умел подражать многим птицам. Эту его способность заметили в школе. Учителя, видимо, настойчиво ориентировали его на артистическое будущее...

Да что значит будущее крестьянского мальчика, когда безотцовщина свирепствовала по всей Руси великой?.. Нужда не обошла и дом Марии Сергеевны. В один из моих редких приездов я побывал в этом доме. Там жили совсем другие люди, но почти всё оставалось так, как в детскую пору Шукшина. Вот и та самая печь, на которой коротали часы двое сирот в ожидании матери. Вот забор и огород, где бегал любимый детьми пес Борзя, вот и тропка, ведущая к реке, к лод-

кам и островам... Мои хлопоты в Бийске по приобретению этого дома для музея успехом не увенчались, хотя хлопотали еще многие люди. На родине Макарыча еще действовал евангельский принцип, утверждавший, что не бывает пророка в своем отечестве. В Сростки, где пешком, где автобусом, я добрался быстро, но уехать обратно в Бийск хотелось еще быстрее. Душила меня горечь воспоминаний... Столовая при дороге щедро кормила шоферов, едущих по Чуйскому тракту. Я поговорил с дядей Макарыча, побывал в библиотеке, где зародилась у Шукшина неудержимая тяга к большой культуре. Постоял я у памятника погибшим в последней войне, прикинул, сколько однофамильцев среди не вернувшихся в Сростки. И сколько всех не вернулось. Мысленно присоединил к ним еще одного земляка. Считал я, считал и сбился со счета...

И вспомнился скорбный мартиролог, записанный в рабочую тетрадь режиссера в какой-то короткий промежуток между съемками: «Отец — расстрелян. Дядя Иван — расстрелян. Дядя Михаил — 18 лет отсидел в лагере, погиб на Колыме. Дядя Василий — сидел в тюрьме, попал в четвертый раз. Дядя Федор — умер в тюрьме. Дядя Иван Козлов — погиб на фронте. Дядя Илья — погиб на фронте в финскую. Дядя Петр — погиб на фронте. Двоюродный брат Иван — убит сыном из ружья. Двоюродный брат Анатолий — трижды сидел в тюрьме, готовится в четвертый раз». Этот список, как говорил Макарыч, был не полным...

Я поймал попутку, уехал в Бийск, где долго искал квартиру шукшинской сестры. Квартира на мой звонок промолчала, тогда я поехал поглядеть техникум, куда со своим домашним матрацем впервые уехал из дому наш Макарыч. Техникум не застопорил неудержимое движение мальчишки к неясной, но давно поставленной цели. Он сбежит из техникума. Он еще несколько раз вернется домой к матери и сестре, но цель была, она стала для него уже яснее. (Вспомним рассказ, вернее, библиографическую зарисовку «Самолет».)

Было грустно. В гостинице суетились какие-то залетные, вроде бы из Молдавии, эстрадники. В буфете то и дело появлялись странные люди. Парень с отчетливым азиатским обликом ходил по буфету с каким-то зверьком на голом брюхе. Суслик, что ли? Зверушка напоминала большую крысу... Она перемещалась по телу парня куда ей хотелось, он демонстрировал ее и свои способности, успевая прикладываться к стакану. Почему-то пришло на ум рубцовское: «Еще бы церковь у реки, и было б все по-вологодски». Ведь Коля тоже бывал на Алтае. Здесь, в гостинице я неожиданно встретил кинооператора Александра Саранцева. С ним мы познакомились в Швеции, где он работал корреспондентом телевидения. Мы помянули Макарыча бутылкой сухого вина. Шукшин метил Саранцева на роль Матвея, от коей я так решительно отказался.

Наутро снова пробовал я найти сестру Макарыча, только опять неудачно. Еще раз навестил Марию Сергеевну с гостившей у нее родной сестрой, теткой Макарыча. Старушки меня не отпускали, однако же остаться в Бийске еще на ночь я не мог. Как жалко, что у меня не было тогда магнитофона! Мой карман был все еще мелок для этой машинки. (Позднее эту безделицу я приобрел аж в трех экземплярах.) Мария Сергеевна жаловалась на барнаульскую писательскую братию — увезли, дескать, письма Васи, и с концами. Подсобили в этом деле барнаульцам московские и вологодские дамочки, обманувшие старуху сомнительной близостью к Шукшину. Я улетел в Москву.

Сохранилось одно письмо Марии Сергеевны, я приведу его в авторской орфографии.

«Добрый день Василий Иванович, с горячим поклоном Мария С. Господи, как я дождалась от вас письма, Господи. Откуда только не были люди писатели журналисты критики корреспонденты а вас я не могла дождаться. Мне же охота поговорить с человеком кто Васю знал хорошо. Может когданибудь гденибудь говорили с Васей на откровенность, ведь для меня каждое его словечко дорого каждая строчечка. Люди все хорошие приезжали добрые, может я за счет людей живу, все поговорят так душевно каждый хочет разделить наше великое горе. Я рада хоть бываю с людьми а кто был близко с Васей никто не приехал. Мы удивляемся, что же это такое неужели им его нисколько не жалко? Даже письмо не напишут. Спасибо Толе Заболоцкому. Он меня встретит и проводит когда я там была. Еще Люба Соколова изредка пишет, больше из близких никто черточки не написал, а вообще то я много писем получаю, не глупые не знаю человека (...) все. Только один критик хорошо знает Васю приезжал Коробов он мне кое что рассказывал о Васе, я так была рада, знал человек сына. Вроде Толя Заболоцкий посулился, может приедет, чтонибудь бы рассказал о внучках и Лиде, мы же ничего не знаем как они живут. Обидно до горьких слез, Лида нам не пишет. Я писала писала а она не отвечает, мне даже стыдно стало я ее беспокою своими письмами, ну сейчас тоже напишу. Ну до чего же обидно, не могу говорить, захлебываюсь слезами. Милый сыночек был живой, каждый подвиг детей писал и я радовалась, а сейчас не вижу и не слышу. Очень тяжело на сердце. Приезжайте Василий Иванович я буду очень рада. Василий Иванович то что написала что Лида не пишет, я вас прошу Василий И. не говорить никому ради Бога. Мы никому об этом не сказываем, только вам, потому что я знаю что Вася вас любил, вот я вам как сыну пожаловалась. У нас спрашивают многие, сноха то пишет? Пишет. Часто. Стыдно от людей да сына жалко до слез. От людей не хорошо, будут знать. Ну ладно Василий Иванович передавайте привет своей семье. До свиданья, будьте здоровы, с уважением и с любовью Мария С. Я о себе не написала. Я всю зиму болею сильно. От слез пишу а строчки сливаются, видно полны глаза слез, сердце все истерзано, от боли горла задыхаюсь. Вот сейчас пишу а по телефону звонок. Мама Шукина Василия М. слушайте 7 по радио в 12 или в час будут передавать вечер памяти Василия Макаровича, будет Васин голос. Господи до чего я рада, забыла буквы какие писать. Ну все Василий Иванович, я много наболтала, прости меня ради Бога. Ну время будет собраться напиши мне. А не будет ладно так.

Как они узнали наш телефон. Господи везде есть записи и хоть бы ктонибудь приехал к матери».

* * *

Летом однажды (не помню, какого года) Макарыч повез нас с Заболоцким в Белые Столбы — в богатейшее хранилище отечественных и забугорных фильмов. (Живо ли оно под чутким демократическим руководством?) Мы посмотрели подряд несколько лент. «Земляничная поляна» Бергмана не произвела особого впечатления. Психологическая заумь какого-то иного (по-моему, прибалтийского) фильма тоже сразу выветрилась из памяти. А вот испанский (или португальский?) фильм под названием «Веридиана» запомнился. В его оценке я был солидарен со своими друзьями. Если бы отсечь некрофильский мотив, белыми нитками пришитый сценаристом к основному сюжету, лента была бы превосходной. Но у ев-

ропейских киношников некрофилия, педерастия и прочая мерзость были всегда в чести. Этому подражали и наши кинодеятели вроде Абуладзе с его «Покаянием».

«Веридиана», верней, часть ее, исключая некрофилию, на какое-то время вернула мне доверие к кино. Однако я по-прежнему утверждал, что писательство для Макарыча важнее, чем кинематограф. Неожиданная поддержка в этом смысле была получена от Леонида Леонова в его письме к Шукшину. Казалось, что Макарыч начал сдаваться: «Вот поставлю Разина — и конец! Хватит!»

Но слишком уж глубоко увяз он в киношную бездну. Выбраться из нее было уж не под силу...

Случались в его жизни и праздничные отдушины в связи с премиями и выходом книг:

«Живу ничего. Дали мне, ты знаешь, премию (РСФСР) — за «Ваш сын и брат». Торжественное такое вручение! Куча красивейших дипломов, золотой знак на грудь... Банкет. С банкета я куда-то еще поехал (денег тоже много дали — 1200 р.), ночь... В общем, я все дипломы потерял. Знак на груди остался. Жду последствий: найдутся где-нибудь дипломы, их переправят в Верх. Совет, а там мне скажут: «Вы так-то с государственной премией обращаетесь! Вы член партии?» Черт знает, что будет. Мне и выговора-то уже нельзя давать — уже есть стр. с занесением в уч. к. Главное, такие штуки долго потом мешают работать.

Маню видал? Славная девка, русская! Я ее зову по-иностранному: Мэри Шук. Ну, будь здоров. Жду сценарий. Передавай привет ребятам. И семейству. Шукшин».

«Белович, дорогой! — пишет он в другом письме. — Письмо твое получил уже в Москве (переслали из Ялты). Был у меня вчера О. Табаков. Говорили о тебе, о твоей пьесе. Сгоряча оба засобирались к тебе — узнать, что с пьесой, и помочь, если это возможно. Про себя я подумал так: не сценарий нам надо бы написать (хоть это не исключено, если захочешь), а пьесу: ближе к литературе, как-то понятнее для писателя, не так шпыняет совесть, как сценарий. Охота мне, чтоб у тебя случились хорошие деньги, и ты бы не так зависел от каждой книги. Не знаю, как Табаков, но я к тебе приеду — поговорить об этом. Про сценарий так: хочешь, завтра с нами заключат договор. И есть режиссер... Но надо понять: что это такое будет для нас. Про Бондарчука... Если б взялся, сделал бы — это таран с кованым концом, он все может. Думаю, что предложит соавторство. На мой взгляд, оно не позорное. Он, правда, художник, несмотря на «Войну и мир». Кроме того, он сельский. С книгой у меня такая же история. Отклонили 11 рассказов, из 15 листов осталось 9. Я был там, говорят: ну, это тоже неплохо. Оно знамо, неплохо... Но, в отличие от тебя, я и не зависаю в безденежье — шут с ними. С паршивой овцы... Это редкое удовольствие, сказать: не подходит? — прекрасно!..

Приеду эдак через неделю: еще мотнусь в Коктебель, провожу своих. И поеду к тебе. К сведению, раз пишешь пьесу: вот вдруг стали активно предлагать (начальство) для кино и для театра «Две зимы...» Абрамова. На «Ленфильме» прямо наваливают одному режиссеру, а он не хочет... Что-то же случается там... Логику обнаружить трудно, но работать, видимо, надо. Приедем с Толей Заболоцким (оператором). А потом охота учинить тебе просмотр фильмов.

Будь здоров, дорогой мой человек! В. Шукшин».

Дипломы, по-видимому, нашли хорошие люди, потому как, судя по всему, худых последствий от их потери не последовало.

Макарыч приезжал с Толей, знакомился с Вологдой. Мы пешком пошли в кинотеатр Завокзального района смотреть фильм «Странные люди». Макарыч очень расстроился, народу оказалось — сосчитать можно. После сеанса пытались говорить с кем-то, результат еще хуже. Фильм зрителям не понравился. Народ был приучен к другому. А тут, мол, в одной картине сразу шесть фильмов. Макарыч на ус намотал, больше к новеллистике ни разу не возвращался. Да и много ли было этих разов? Не разбежишься...

Макарыч всерьез думал о литературе как основной своей деятельности. Но кино держало его довольно цепко. Стоило ли тратить на него так много сил, времени, нервов? Ему ставили подножки на каждом шагу. Особенно обидным было то, что к другим, например к Тарковскому, относились иначе: денег на постановки отпускалось Комитетом значительно больше, аппаратура, пленка предоставлялись намного качественней и т.д. Помню, каким-то ветром занесло меня на студию. Пробежали по павильонам, и вдруг я попал в глухую длиннющую деревянную трубу, сделанную из дорогостоящей вагонки. Труба в рост человека. Она была не прямая, даже с изгибами. Я изумился: «Что это, для кого такая махина?» Макарыч саркастически хмыкнул: «“Сталкер”». Слыхал такое словечко? Я тоже не знаю, что оно значит. Наверняка что-нибудь да значит... Дают ему столько, сколько попросит».

Речь шла об очередном «гениальном» фильме Тарковского.

Деревянная кишка со специальными рельсами для операторской камеры тянулась далеко, стало как-то даже жутковато. Заболоцкий в своей книге говорит, что «Сталкера» Тарковский снимал в трех вариантах, меняя каждый раз оператора. Сам же Макарыч расходовал бюджетные средства весьма экономно, дешевизна его картин подтверждается документами.

Особенно возмущало нас хвастовство и шум, поднятые вокруг ульяновского «Председателя» (режиссер Салтыков). «Фальшиво же все!» — раздражался Макарыч, стараясь не быть услышанным каким-нибудь любопытным соседом. Я был полностью согласен с ним в оценке салтыковско-ульяновского «шедевра», поскольку у меня уже была написана статья «Деревенская тема в кино». Ее публикацию никто из культуртрегеров не осмелился опровергнуть. Но, может, я ошибаюсь? У нас не было времени следить за прессой. Помню, я до того осмелел, что на банкете по случаю «Дядюшкина сна», снимавшегося в Вологде, сказал что-то недружелюбное по поводу «Председателя». И кому — самой Мордюковой! Сказал, а после и сам испугался. В ответ на мое раскаяние Макарыч ругался: «*Мордюкову обидел? Кэх!.. Ее только колом осиновым можно обидеть, и то бесполезно...*»

В статье моей говорилось, что кино в общественной жизни занимает более скромное место, чем кажется зрителям, критикам и самим кинематографистам. Явная полемика с Макарычем. Конечно, он сразу это почуял, но ни разу не упрекнул, не сказал против моего радикального мнения ни одного междометия.

Только два раза произошла между нами стычка, и то скорее по моей вине. Занявшись драматургией, я чтил чистоту этого жанра (как любого иного жанра: прозы, например, рассказа или повести). Понятие жанра было для меня как бы непререкаемо: нельзя путать рассказы с очерками, пьесу с биографическими воспоминаниями. Поэзия, как таковая, разумеется, может и должна присутствовать в любом жанре, философия тоже, но законы-то у каждого жанра всегда свои, особые. Между тем в литературе и вообще в культуре пошла мода на безответственное и

безобразное смешивание. В прозе, к примеру, проступали признаки драматургии, в стихах явились признаки прозы, в драме просвечивались киносценарии...

Профессиональный писатель, как мне казалось, обязан уметь работать в любом жанре — от романа и поэмы до обычного очерка. Хотя бы для того, чтобы кормиться, жить за свой, а не за чей-то счет, при этом, в меру своих возможностей, не халтурить.

С такими эстетическими убеждениями я считал, что то, что интересно делать, то и надо делать, что хочется, то и пробуй делать. В этом Ульянову я не противоречу... Не трусь и не бойся любого жанра. Разумеется, к чему душа совсем не лежит, к таким жанрам лучше повернуть своим тылом... Но что за писатель, если он трус? Уперся в одно и упрямо боится свернуть с раз и навсегда избранного пути?

Конечно, в мире полно графоманов, как и наркоманов. Сходство двух этих категорий просто полнейшее. Редкий наркотик уступает литературному «зелью». Доказательств тому тьма. Теперь даже президенты, банкиры, депутаты издают свои книги. Зачем? Тайна сия велика есть...

Истинный писатель тоже тайна. Что значит этот самый талант? Почему одних читают, других и не думают? Как определить, надо или не надо читать определенную книгу? Как понять, на что способен ты сам, и, если способен, в какой мере? Каждого человека от молодых ногтей ждут подобные искушения, каждый проходит через это, хотя бы при выборе профессиональной деятельности. Писательский ореол у людей почему-то на особом счету... Меня тоже ослепил он, этот ореол, еще в юности, в пору первой любви, в пору всяких надежд и мечтаний. Хотя эта пора и была холодной и голодной, судьба милосердно привела меня в Москву, в Литинститут, посадила рядом с более юными и, может быть, более способными... Лучше было недооценить, чем переоценить свои силы и данные Богом способности. Но если уж взялся за гуж, не говори, что не дюж. Да, сладкий заманчивый яд известности мешался с высокой радостью литературного творчества, хотя я и до сих пор стыжусь в полный голос произносить это слово...

Примерно при таких чувствах я взялся за драматургический жанр, этот жанр был очень привлекателен, интересен. Он завлекал мою душу сюжетами, манил и другими возможностями. Мои взгляды на драматургический жанр слегка отражены в статье «Театральные размышления» (книга «Раздумья на родине», 1986 год, изд-во «Современник»).

Мое представление об идеальной пьесе не совместилось с шукшинскими драматургическими опытами того периода. Его постановка в театре им. Маяковского на малой сцене мне не понравилась, и я прямо сказал об этом Макарычу. Его заело... Он раздраженно заговорил, какая это зацепка для его недругов, как обрадуются они такой оценке спектакля. О пьесе «Энергичные люди», поставленной в театре Товстоногова, мы тоже не сходились во мнении, в пьесе хозяйничал сценарист, а не драматург. Но я щадил своего друга и несколько попридержал свой язычок...

Шукшин стремительно двигался к своему драматургическому шедевру-завещанию «Ванька, смотри!» В журнале, на мой взгляд, зря переменили название пьесы. Но «Энергичные люди» не волновали, не трогали моего сердца. (Пьесы Александра Вампилова, тоже сибиряка, больше отвечали моему драматургическому настрою.) Шукшин умел учиться, на ходу постигал секреты мастерства, не боялся никакой критики, признавал любую, кроме заведомо лживой, сказанной с определенными целями. В цитируемом письме он признает, что сценарий дальше

от настоящей литературы, чем пьеса. Наверное, он уже задумывал свою сказку. И может быть, не без моего влияния задумывал, поскольку мы говорили и про новомировского «монаха», и про мои бухтины с медведем. Наверное, мне можно гордиться теперь: ведь сюжеты с монастырем и медведем навеял ему я, он читал все, что выходило из-под моей грешной руки. Поэтому о каких размолвках можно говорить!

Тем не менее я тоже был обижен публикацией «Кляузы». За нее уцепились наши общие недруги. Насколько мне известно, Макарыч просил жену показать «Кляузу» Белову и, если тот возражать не станет, отдать ее в печать. Лида же не показала мне рукопись, поспешила напечатать, сказалось вечное женское стремление к благополучию деток. В своем письме к Шукшину я, вероятно, попенял Лидии Николаевне за «Кляузу», так как Макарыч пишет:

«Лида прочитала по телефону твое письмо.

...Вася, это не будет всуе, это про то, как один лакей разом, с ходу уделал трех русских писателей. Это же славно! Не мы же выдумали такой порядок. Чего тут стыдного? Ничего, ничего — я чувствую здесь неожиданную (для литературы) правду... Клейма на такую форму рассказов у них еще нет, в эту-то прореху и сунуть.

Толя едет к тебе в деревню... Отступаете? Ну, отдышитесь. Напиши за неделю документальный рассказ: так мне стали нравиться документальные рассказы. Ну, душой буду с вами, а телом в Кунцевской больнице. Вот же хворь — это стало уже угнетать: я же так ни черта не сделаю! Так охота работать!»

Дальше, наверное, в ответ на мои семейные жалобы, пишет:

«Я про своих родных и думать-то и рассказывать боюсь... Непролазно, Вася, черно. Как же быть?! Как быть-то? Одно знаю — работать. А уж там как Бог хочет».

Была еще такая приписка:

«А по весне-то (в марте хоть) не собираешься ли опять в деревню? Ах, попросился бы с тобой! 6 февр. 74 г. Обнимаю. Шукшин».

Наверное, это единственное письмо, где указана дата. Остальные даты можно определить лишь по почтовым штампам. Но конверты я выбрасывал, освобождаясь от лишних бумаг. Одна открытка с собачкой пекинской или японской породы сохранилась:

«Вася, здравствуй! Ничего — просто лежу в больнице. Выглянул в окно — весна. Дай, думаю, поздороваюсь с тобой, поздравлю с Весной. Вот и все. Да и собачка понравилась — похожа на редакторшу. Верно? Больше писать нечего. Дай Бог тебе здоровья! Шукшин».

Штампы на открытке оказались неразборчивы, какой был год, можно определить лишь по предыдущему письму.

Не знаю, какие слова были написаны Шукшину Леонидом Леоновым, но встреча с Шолоховым перевернула у Макарыча все его представления о бытовой безопасности. Поневолe приходится пользоваться такими терминами, поскольку без такой безопасности ничего не сделать, будь ты хоть семи пядей во лбу. Макарыч знал об этой истине и раньше, но встреча с Шолоховым просто dokonала его:

«Вот в ком истина! Спокоен, велик! Знает, как надо жить. Не обращает внимания ни на какие собачьи тьяканья...»

Он вернулся с Дона совсем с другим настроением, хотя съемки военных событий выматывали. Таскать противотанковое ружье было не под силу даже Алеше

Ванину, одному из верных, любящих Макарыча киношных людей. Алексею Ванину Шукшин доверял. Как доверял он и оператору Анатолию Заболоцкому.

* * *

Макарыч не оставлял мечту поставить «Разина», рассчитывал на административную поддержку Бондарчука. Поэтому и согласился играть в фильме по роману Шолохова. Как актеру ему вовсе не хотелось работать. Сценарий «Степана Разина» сделан, предстояла борьба за постановку... Борьба нешуточная, изнуряюще-долгая, почти бесперспективная. Но он верил в удачу. И, надо сказать, кое-где судьба ему помогала. На ЦК и угрюмого тамошнего сидельца Шауро надежды были плохи. Макарыч приглушенно смеялся над привычкой Шауро запереться в кабинете и играть на гармошке. Это были, разумеется, сионистские слухи, но мы судили о Шауро и Сулове не по слухам, а по их делам. Дела же казались зловещими. Сулова русские патриоты считали масоном, но разве сравнима шауровская гармонь с черномырдинской? Суловский выдвигенец Горбачев в то время высиживал свое предательство России где-то в Ставропольском крае...

Прочитав сценарий «Степана Разина», я сунулся с подсказками, мое понимание Разина отличалось от шукшинского. Разин для меня был не только вождем крестьянского восстания, но еще и разбойником, разрушителем государства. Разин с Пугачевым и сегодня олицетворяют для меня центробежные силы, враждебные для русского государства. Советовал я Макарычу вставить иногда и на сторону Алексея Михайловича.

«Как же ты так... — нежно возмущался Макарыч. — Это по-другому немножко. Не зря на Руси испокон пели о разбойниках! Ты, выходит, на чужой стороне, не крестьянской...»

Горячился и я, напоминая, что наделали на Руси Пугачев и Болотников. Вспоминали мы и Булавина, переходили от него напрямую к Антонову и Тухачевскому. Но и ссылка на Троцкого с Тухачевским не помогала. Разин всецело владел Макарычем. Я предложил добавить в сценарий одну финальную сцену: свидание Степана перед казнью с царем. Чтобы в этой сцене Алексей Михайлович встал с трона и сказал: «Вот садись на него и правь! Погляжу, что у тебя получится. Посчитаем, сколько у тебя-то слетит невинных головушек...»

Макарыч задумывался, слышалось характерное шукшинское покашливание. Он прикидывал, годится ли фильму такая сцена. Затем в тихой ярости, однако с каким-то странным сочувствием к Разину, говорил о предательстве Матвея и мужицкого войска. Ведь оставленные Разиным мужики были изрублены царскими палашами. Он, Макарыч, был иногда близок к моему пониманию исторических событий. Но он самозабвенно любил образ Степана Разина и не мог ему изменить. В этом обстоятельстве тоже ощущалось нечто трагическое, как в народной песне о персидской княжне, как в сибирской песне «Миленький ты мой» или в песенке о снегах, что певала Анфиса Ивановна. Смутный, щемяще-печальный образ оставленной женщины, как мне сейчас представляется, не покидал Макарыча и в сценарии «Позови меня в даль светлую». Питался этот образ, наверное, тоской по родине, раздумьями о матери и жалостью к родной сестре. Кто знает, на чем держатся образы? Говорить об этом опасно, так как тут довольно легко впасть в субъективизм, еще легче ошибиться и сказать о человеке какую-нибудь неправду.

В статье 1978 года «Возвращаясь к первоначальным истинам» я пробовал до-

кричаться до всехглохнувших в нравственно-эстетическом смысле. Но ни до кого не докричался! Наоборот, отвлекающий журналистский треск вокруг искусства совсем глушил редкие предостерегающие голоса. В «Литературной газете» (№ 7 за 1978 г.) со всей категоричностью заявлено: «Театр стоит перед альтернативой: либо содействовать многократному посещению... одной и той же аудитории — упор на постоянную публику, либо привлекать все новых и новых зрителей — упор на разового зрителя». Каких только альтернатив не придумали культурные перестройщики, чтобы напустить туману, запутать простые вопросы ради того, чтобы продлить государственную кормушку для халтурщиков-дармоедов. Впрочем, приноравливался к этой кормушке и я, мои пьесы шли тогда более чем в тридцати провинциальных и столичных театрах. Халтура ли это была? Конечно, время поглотит мои пьесы, но мне за них почему-то не стыдно... По крайней мере, на общественно-эстетические требования времени мы старались как-то отвечать. Шукшин своей сказкой мужественно ударил по театральному столу кулаком. Трехголового Змея Горыныча в литературе до него не было. В своем Иване, poslanном за справкой, что он не дурак, Макарыч с горечью отразил судьбу миллионов русских, бесстрашно содрал с русского человека ярлык дурака и антисемита, терпимый нами только страха ради иудейска. После Гоголя и Достоевского не так уж многие осмеливались на такой шаг! Быть может, за этот шаг Макарыч и поплатился жизнью — кто знает? Знал, может, один Жора Бурков, но ведь и Жоры вскоре не стало...

* * *

В последний раз я видел Макарыча летом. Он был порывист, возбужден и невезен. Они о чем-то договаривались с Николаем Губенко. Довезли меня до какого-то метро, я уезжал в Вологду, а Макарыч в этот же день улетал на Дон в группу Бондарчука. Вышел он из машины, чтобы попрощаться со мной и с Губенко. День был жаркий. Мы суетливо расстались где-то около центра, кажется, на Садовом. Следующая наша встреча произошла тоже на Садовом, в морге института им. Склифосовского... Мне и сейчас лучше не вспоминать эту печальную встречу с другом.

Болгарский журналист Спас Попов, студент Литинститута, с помощью Гр. Цитриняка взял у Шукшина последнее интервью.

Итак, последние слова Шукшина были записаны на хуторе Мелоголовском во вторник 16 июля 1974 года в 9 часов утра. Попов и Цитриняк спросили Шукшина о Шолохове. Шукшинская характеристика М. Шолохова оказалась несколько иной, чем в клеветническом «Стремени “Тихого Дона”»:

«От этих писателей я научился жить суетой. Шолохов вывернул меня наизнанку. Шолохов мне внушил — не словами, а присутствием своим в Вешенской и в литературе, — что нельзя торопиться, гоняться за рекордами в искусстве, что нужно искать тишину и спокойствие, где можно осмыслить глубоко народную судьбу. Ежедневная суета поймать и отразить в творчестве все второстепенное опутала меня. А он предстал передо мной реальным, земным светом правды. Я лишний раз убедился, что занимаюсь не своим делом. Сейчас я должен подумать о коренном переустройстве своей жизни. Наверное, придется с чем-то распроститься — либо с кино, либо с театром, либо с актерством. А может быть, и с московской пропиской... Суета! Это многих губит. Если занимаешься литературой —

распрощайся с кино. Многое для меня остается пока необъяснимым. Но то, что кино и проза мешают друг другу...»

В этой беседе Макарыч восторженно отозвался и о Белове, «сидящем в Вологде». Думаю, что, идеализируя мое «вологодское сидение», он преувеличил мои достоинства. На вопрос о литературном мастерстве Макарыч так отвечал болгарину:

«Хороший писатель иногда такого наговорит о своем литературном мастерстве, что потом, когда одумается, — самому станет противно. Я считаю, что не имею права никому ничего навязывать. Боюсь я исповедей об индивидуальной работе, о внутреннем мире писателя во время творческого процесса».

В конце интервью вновь чувствуется горечь от потерянных на кино сил, здоровья, времени:

«Сейчас я думаю о коренном переустройстве своей жизни. Пора заняться серьезным делом. В кино я проиграл лет пятнадцать, лет пять гонялся за московской пропиской. Почему? Зачем? Неустроенная жизнь мне мешала творить, я метался то туда, то сюда. Потратил много сил на ненужные вещи. И теперь мне уже надо беречь свои силы. Создал три-четыре книжечки и два фильма. Все остальное сделано ради существования. И поэтому решаю: конец кино! Конец всему, что мешает мне писать».

Журналист спрашивает: «Могу я все это напечатать?» — «Конечно. Я потому и согласился на наш разговор».

* * *

На этом общение Макарыча с газетами, с миром, со всей суетой жизни — завершилось. Ему не удалось пожить ни в новой, наконец полученной квартире, ни в новой для него обстановке, свободной от кино, пожить свободным от предательства сподвижников, засилья льстивых, коварных «французов», свободным от постоянной материальной нужды и боязни за незащитных родных и близких людей.

Но и с того, с другого берега Макарыч продолжает кричать: «Ванька, смотри!»

Россия будет всегда благодарна Шукшину за этот предостерегающий окрик, хотя мы не услышали этот окрик в нужное время. Сергею Викулову, моему земляку, несмотря на осторожность и окружающие страхи, удалось тиснуть сказку в журнале. Пусть и под другим заголовком. (И ничего страшного не случилось ни с журналом, ни с главным редактором. Редколлегию не разогнали, «Наш современник» продолжал выходить номер за номером.)

Сказка Шукшина пошла в народ, увы, уже после смерти Макарыча. Ее читали и перечитывали. Ставили самодеятельные коллективы и, кажется, замахивались профессионалы.

* * *

Все в этой жизни было взаимосвязано, взаимообусловлено. (Никак не вспомню философский термин, обозначающий такое явление. Детерминизм, что ли? «Культурный» еврейский щеголь типа Фридриха Горенштейна обрадуется, назовет такую мою забывчивость «духовным нищенством». Уж он-то никогда не забудет, что значит этот самый детерминизм.) Даже предательство друзей объяснимо, хотя душа не желает верить никаким объяснениям. Шукшину было больно предательство Куравлева — какие тут объяснения? Переманили слабого человека,

женщина убежала к другому, более молодому — переманил он ее. Переманивают деньгами, более легкой жизнью, даже новизной, даже какой-нибудь модой.

О моде он с ненавистью писал специально, писал статью, моду он презирал. Человека, гонящегося за модой, не принимал всерьез. Даже женщины такого склада вызывали у него ухмылку, что уж там говорить о мужчинах.

Мещанскую моду на академические знаки он преодолел ВГИКом, моду на славу преодолевать не стремился, потому что она приносила ему какую-то, пусть относительную, материальную независимость, возможность помогать матери, родным и близким. Этой возможностью он дорожил больше, чем жизнью.

Теоретически он понимал предательство слабых людей, хотя бы того же Куравлева. Только ведь одно дело понять умом, другое — сердцем. Сердце его кровоточило. Забота и боль о матери и жене, о всех трех дочерях, о сестре и племянниках не отпускали его ни на минуту. Говорить с миллионами, то есть стать деятелем кино, его заставила первоначальная тяга к искусству, а за ней уже и осознанная боль, о которой он писал мне в письме. Боль, полученная по наследству, обернулась стремлением к киношной профессии, то есть ко ВГИКу. Ради этого он учился тошнотворному коллективному творчеству. Ложная романтика губила многих из нас... А бесследно ли разрушение в таком виде творчества, как кинематограф, хрупкого интимного мира? Он жил как в аквариуме. Тысячи писем, миллионы изучающих глаз. Он никого не хотел, не мог обижать, поскольку от природы был добр, хотя коллективных врагов из стана Фридриха Горенштейна глубоко презирал.

Упомянутый стан еще при живом Шукшине почти открыто противостоял его родине — России. Щедрость и доброта Макарыча проявлялись даже к индивидуальным фридрихам. (Какая переключка в именах с известными завоевателями, вечно грозящими России со стороны цивилизованного «свободного» Запада!)

Как бы сложилась его жизнь, не будь он сыном расстрелянного сибирского крестьянина, объявленного «не с числа, не с дела» каким-то кулаком теми же фридрихами? Если б он закончил в свое время школу, затем институт, затем... Но ему выпала иная стезя, иная доля, связанная с колхозной нуждой, с флотской службой и т.д. А кто бы работал на поле и стройке, кто бы служил на кораблях? Фридрихи, что ли? Они бы ничего этого делать не стали. Они еще до своего рождения отгородились от кораблей и колхозных полей дипломами своих родителей.

Диплом давал фридриху горенштейну право на гнусные слова о «фальшивом» алтайском интеллигенте, будто бы печатающемся где ни попадя. Сколько презрения и ненависти сумел выплеснуть этот фридрих в каких-то двух страницах текста! Талант, несомненный талант... Бесовский талант. Дипломы таким давались не зря. С помощью дипломов вручались в их ведение художественные и технические институты, академические театры, киностудии, важные должности в областях и столицах. Для крестьянских детей после этого уже не было зеленого света в искусство, в литературу. Без аттестата зрелости Игорю Тихонову нечего было и мечтать о продвижении. Сиди в своей сапожной либо ходи по крышам (последние месяцы жизни Игорь работал кровельщиком). Но даже над Ольгой Фокиной, выросшей на медные деньги в безотцовщине, получившей свой законный диплом, крокодилские сатирики издевались: «Вам рано, мадам, в Европу, сидите в своих вологдах». Впрочем, ни на талантливые поэмы, ни на романы фридрихи способны не были, иное дело эпиграммы или двусмысленные сальные пародии. В этой сфере они непревзойденны и по сие время.

Есенинская «Волчья гибель» ходила в Вологде рукописно, я переписал ее у Игоря Тихонова. Не случайно и Макарыч выделял у Есенина именно это стихотворение. Есенина он, как говорилось выше, просто боготворил. В воспоминаниях Ольги Румянцевой (записанных А. Лебедевым) говорится, как любил Шукшин Сергея Есенина, как они с Ирой (дочерью Румянцевой), сидя где-нибудь в углу, пели романсы на есенинские слова и с каким жадным волнением слушал он живой голос Есенина, читающего монолог Хлопуши. «Когда монолог закончился, — рассказывает Ольга Михайловна, — Шукшин сел и заплакал. На другой день он снова пришел слушать эту пластинку. Сидел молча, опустив голову». А с какой болью, вспоминает далее Румянцева, пел он есенинское «Клен ты мой опавший», «Ты жива еще, моя старушка», «Над окошком месяц»...

Конечно, логика Фридриха Горенштейна не допускает иного пения, кроме пьяного. Но песни и слезы Макарыча были иного происхождения, иного свойства... Об этом с неумолимой определенностью говорит и сказка-пьеса, написанная почти перед смертью и никем из корифеев до сих пор не замеченная. Театр русский горенштейны постоянно «совершенствовались», в своих интересах, конечно. Помню, как в драмтеатре богоспасаемой Вологды шла постоянная чехарда с режиссерами. Меняли, мудрили, перестраивали. Администрация за счет винной торговли перестраивала и само здание драмтеатра, где режиссер Баронов поставил мою пьесу. Построили новый драмтеатр, старый сделали ТЮЗом — опять перетряска, опять новые «художественные» кадры. Не знаю, как сказывалось все это на жизни, например, Марины Владимировны Шуко, превосходной актрисы, игравшей мою, а потом и распутинскую героиню. Плохо, наверное, сказывалось, если она умерла так неожиданно, чуть ли не в дороге. Директор театра Лифшиц, обретающийся сейчас в США, был доброжелателен к моим драматургическим дебютам, а режиссеры то и дело менялись, и каждый волок с собой свой репертуар и даже актеров. Поучаствовал в режиссерской чехарде и друг Жоры Буркова, какой-то бесцветный уральский парень, он поставил у нас спектакль «Завтра была война» и бесследно исчез. На Таганке «Зори», у нас «Зори». Кругом Борис Васильев, а Шукшина нет как нет, хотя тот же Бурков, подобно Ульянову, обещал поставить сказку. В планы культуртрегеров Шукшин с его Змеем Горынычем явно никак не влезал.

И что говорить про [них], если и сама Лидия Федосеева-Шукшина таскалась по демократическим московским трибунам, громогласно, чуть ли не от имени Макарыча, заявляла о своих сомнительных политических взглядах? Не знаю, что бы сделал с ней Макарыч, будь он при этом живым. «Умер вовремя», — говорят некоторые. Может, и вовремя... Нет, совсем, совсем не вовремя умирают такие люди, как Шукшин, Солоухин, Абрамов!

«...Эта личность меньше всего заботилась о самой себе, о том, как бы проводить в самой себе грани... Вот я — актер, а вот это я писатель...» Сергей Павлович Залыгин, вы не правы, когда так говорили о Шукшине в предисловии к его двухтомнику. Грани эти он в себе чувствовал и о себе заботился. Иначе бы не сказал то, что сказано Спасу Попову о московской прописке. Сидеть сразу «в трех санях», как выразился М.А. Шолохов, ему действительно было невозможно. Грань между кино и литературой была, и очень острая. Кинематограф оказался убийственно тесным для этой личности. Шукшин задыхался в сверхинтеллектуальной киношной среде. Разве о том мечтал он, стремясь в Москву?

Его сердце сжималось от жалости, когда он слышал плач ребенка. Спокойно относиться к детским слезам он не мог, чей бы ни был ребенок. Что уж говорить о собственных дочерях? К талантам Лидии Федосеевой относился сдержанно, иногда с юмором, стоически терпел отлучки, связанные с ее артистической деятельностью. Куда денешься, коль на актрисе женился? Порой и девочки вовлекались в киношную бучу. Он соглашался, что детям такая ранняя киношная слава идет во вред. Между тем почти вся кинематографическая и театральная среда была уже пронизана родственными связями. Как-то даже было принято: режиссеры-мужья обязаны снимать своих жен. Снимали и дочерей, и младенцев... Мне представляется, что отлучки жены, связанные с командировками, не шли на пользу семье Макарыча. Шукшин иногда нервничал и ярился.

Помню, он открыл мне дверь на улице Русанова. В квартире ни дочерей, ни жены. Макарыч завернул матерком, было время завтрака, а есть нечего. Достал из холодильника большой кусок мяса и начал нашпиговывать его чесноком. Чеснок-то надо было еще чистить. Он ловко, стремительно справился с этим, навтыкал с помощью ножа чесноку в мясо и начал жарить, рассказывая про Герасимова: «Тамара Макарова не каждый день кормит Герасимова... Но такие зубры голодом сидеть не будут. Сам возьмет и нажарит. Пырьев тоже с бабой скандалил. Зверь-баба, выгнала нас обоих, когда я по-сибирски затесался в квартиру. До сих пор стыдно... Я-то думал, что уж Пырьев-то... А им тоже жена командовала».

От завтрака я отказался. Пришел сосед по дому, а может, и по подъезду, незнакомый мне безрукий актер. Макарыч был рад и ему... Чувствовалось, как он тосковал в пустой свибловской квартирентке, как был одинок и взвинчен без жены и без дочек.

Когда долго не было писем с Алтая, он приходил в отчаяние, слал телеграммы матери, слезные письма. Надо признать, ни я, ни кто другой из его близких друзей вряд ли писали так своим матерям:

«Мамочка, милая ты моя! Родная моя! Что же там у вас случилось такое? То ли ты заболела — не дай Бог! Мамочка, моя родная, неужели ты заболела? Ангел ты мой родной, напиши мне скорее письмо. Друг ты мой старший, друг бескорыстный, сообщи мне, ради Бога, что у вас там случилось. У меня душа болит за Талю, за ее ребятишек».

Нет, это надо признать, я со своей матушкой, Анфисой Ивановной, был намного сдержанней, жестче и суше как в письмах, так и в прямом общении, хотя она дорога была мне, наверное, не меньше. Я стремился к какой-то мужской сдержанности. В один из приездов Шукшин оказался свидетелем моей резкости в обращении с матерью. Он подождал, когда она ушла в другую комнату, и тихо, с укоризной сказал: «Что ж ты так... С матерью-то. Потом ведь каяться будешь».

Он как в воду глядел. После смерти Анфисы Ивановны от горя три года я не мог написать ни строчки. Казалось, что жизнь кончилась, и нет в ней ни капли смысла... Лишь на четвертый год я начал приходить в себя.

Понятно, что с таким традиционно-русским, христианским отношением к миру Шукшин даже спрашивал у Марии Сергеевны в письме разрешение обзавестись третьим ребенком. Он мечтал о сыне, чтобы дать ему отцовское имя — Макар.

О женщинах, рвущихся в поэзию и литературу, мы говорили с некоторым недоверием и даже сарказмом, по выбору. Одно дело, например, москвички Инна

Кашежева с Риммой Казаковой, другое — ленинградки Ольга Берггольц и Светлана Кузнецова. О женщинах-редакторах — тем более по выбору. Таких, как Ольга Михайловна, на Руси обреталось не так уж и много, но не так уж и мало. Имелись они не в одной Москве. Наверное, в каждом областном центре. Таких благородных женщин вытравила из жизни горбачевско-ельцинская перестройка! Мало осталось... Как бы они могли сохраниться, если не стало мощных, на весь мир прославленных издательств, когда уничтожена могучая книжная культура, когда на книжный рынок хлынула безжалостная и вонючая детективно-сексуально-суицидная волна? Вологодские дамочки-книготорговцы однажды (когда я попросил обзавестись моей книгой, напрасно лежащей в Москве) начали рекламировать омерзительный опус, пропагандирующий все известные способы самоубийств. Словно нет у человека иных, более необходимых задач.

А как было толковать без юмора как бы и не совсем о женщинах — о существах, приобретших или стремящихся приобрести свойства мужчин, утрачивающих или утративших вековечные женские свойства? К этим свойствам мы относим беззащитную нежность, физическую слабость, сердечное очарование, то есть то, чего нет у мужчин. Не зря же говорят: прекрасный пол, сильный пол. Я рассказывал Макарычу об Анне Ахматовой, виденной мною в Комарове, о ее величественном, почти мужском профиле, о ее мужском голосе, так не сочетавшемся с ее дамским интересом к ежедневному меню и мелочному вниманию окружающих. Мне казалось, что все эти свойства не сочетаются с ее могучим талантом. Вероятно, похожа была на мужчину и Марина Цветаева, по крайней мере, если судить по манере стихосложения. Но, может быть, так и положено? Не знаю... Пушкин писал и такие строки:

*Не дай мне Бог узнать на бале
Иль при разъезде на крыльце
Семинариста в желтой шали
Иль академика в чепце.*

Так или иначе, нам было несколько странно слышать с эстрады мужской бас, производимый женским горлом, иль видеть в актрисе мужские ухватки. (Я говаривал об этом публично, вспоминая пушкинское четверостишие.) Отношение к дамским усам было выражено в литературе тоже Пушкиным. Наверное, он был заодно с уличными мальчишками, что углем дорисовывают эти усы на афишах. Образ «усатой ведьмы» витал в мире задолго до Пушкина. Быть может, трогать нечистую силу не стоило даже и самому Шекспиру? Кто знает, чем оборачивается фамильярность с бесовской стихией...

* * *

К 60-летию со дня рождения Шукшина я тиснул заметку, где говорилось, что чуть ли не на второй день после кончины писателя сразу во всех крупных московских издательствах появились заявки. Люди, не любившие его, видевшие его лишь в кино, ринулись «увековечивать» шукшинскую память. Пришла такая заявка и в издательство «Советский писатель». Автор «Блокады» Чаковский требовал поставить в план то ли восемь, то ли десять печатных листов... Мы с Сергеем Залыгиным и еще кем-то вздумали остановить нахальных «биографов» с помощью альтернативных заявок. Сергей Павлович послал заявку в издательство «Совет-

ская Россия», а я в «Совпис». «Увы, я не написал эту книгу, — жаловался я сам на себя в заметочке, посвященной 60-летию. — Причин поначалу было всего две: во-первых, цензура, во-вторых, я не мог писать о Шукшине, пока не написано о Яшине. С годами цензура хоть и не исчезла, но как-то слегка ослабла, зато число ушедших друзей безжалостно увеличивалось. Николай Рубцов и Федор Абрамов окончательно меня осиротили, надолго выбили из колеи...»

Далее говорилось: «...чешется мой язык сказать, что виновато издательство (юрист «Совписа») регулярно напоминал мне об авансе, намекал на то, что дело будет передано в суд). Однажды, получив гонорар в другом месте, я сдал в кассу «Советского писателя» восемьсот с чем-то рублей, поднялся наверх и показал квитанцию главному редактору В. Карповой с тем, чтобы продлить договор. Результат был весьма прост: она переоформила договор. На себя...»

Да, литературные дамы не стеснялись уподобляться стервятникам, стремящимся разбогатеть на памяти и одновременно опорочить эту память как можно ехиднее. (Я не говорю, что Валентина Карпова была точь-в-точь такой.)

Известный молдавский писатель, толочшийся больше в Москве, чем в Кишиневе, сочинил статью о Василии Шукшине. Назвал эту хитрозадую статью «Долгое расставание». Чего, мол, так долго все его вспоминают? Может, пора и забыть?

Литературные дамочки умыкнули у больной Марии Сергеевны большую часть шукшинского архива и теперь используют его не в лучших целях. Они представляются добродетельными прижизненными друзьями Макарыча. Положим, Макарыч не чуждался при жизни и дамочек. Но зачем же сочинять небылицы? «Смерть Шукшина пришла тогда, когда он исчерпал себя...» Эту мысль отстаивает не только Ирина Ракша. Впрочем, слава Богу, сочиняют не все, кто знал Шукшина. Бэлла Ахмадулина, наверное, могла бы сочинить целую поэму о том, как она совместно с Куравлевым и Шукшиным «работала» в первом шукшинском фильме. Не сочиняет, и ладно...

Недоброжелатели Шукшина спокойненько остановили фильм о народном крестьянском восстании. «Степана Разина» не пустили дальше мосфильмовского порога, а Макарыч, как Пушкин перед женитьбой, неожиданно угодил в карантин. Клевреты и без холерной палочки легко справились с задачей. Степан Тимофеевич не прошел... Анатолий Заболоцкий в книге «Шукшин в кадре и за кадром» довольно живо рассказывает об астраханском холерном сидении.

* * *

Не обращая внимания на подножки, Шукшин упрямо верил в успех, продолжал собирать материал для съемок, встречался с нужным народом. В Вологде мы забирались на колокольню, разглядывали часовые шестеренки, оглядывали окрестность с высоты птичьего полета. Макарыч жадно поглощал все, чем славилась Вологда, начиная с купца Непеи, первого посланника в Англию, кончая Сергеем Есениным. В ту пору еще были живы некоторые свидетельницы приезда Сергея Есенина в наши края.

Двое друзей, Ганин и Есенин, ехали из Петрограда в Вологду, намереваясь свершить свадьбу Ганина с Зинаидой Райх в деревне у родителей Ганина. По дороге Райх перекинулась во власть Есенина. Ганин не стал ее удерживать. Не доезжая до деревни жениха, Зинаида обвенчалась с Есениным в церкви Кирика и Улиты, что под Вологдой. После этого все трое отправились к родне Ганина в деревню

Коншино Кадниковского уезда. Жители этой деревни долго помнили Есенина, с гармошкой гуляющего по деревне во время православных праздников. (Иных в то время еще не праздновали. Деревня была уничтожена теми же силами, от которых погибли и праздники, и Ганин, и Есенин. Да, пожалуй, и сам Шукшин.) Макарыч хмуро слушал трагическую историю о гибели Ганина, а есенинскую судьбу он и без меня знал назубок.

Судьбы русской культуры плотно увязаны с гибелью Пушкина и Есенина. А сколько их было, не менее трагических жизненных финалов, завершавших путь наших национальных творцов! Предчувствия не оставляли и самого Шукшина. После создания сказки эти предчувствия явно обострились...

Сейчас я думаю, с каким трудом, какими аптечными дозами проникала подлинная (народная) правда на русскую сцену, в русский кинематограф (ведь было же у критиков и такое выражение — русский кинематограф). Дураку ясно, почему Шукшин начинал с кино, и почему на него так ополчились, и откуда у него такое многообразие «чудиков».

А как было пробиться через толстокожую марксистскую критику? Вся она была основана на городской, преимущественно интеллигентской эстетике, на установившихся догмах, на диамате и т.д. Это теперь марксистские обскуранты массами бросились в капитализм, и нынешняя власть позволила на все лады клясть Россию. А в те, как говорят, застойные годы Шауро с Суловым держали их, сердешных, в добротной узде.

Шукшин и гвоздил зрителей, читателей, слушателей чем только мог: «чудиками», блатными замашками, неожиданными поворотами. В азарте иногда и перебарщивал, например, в рассказе «Танцующий Шива». В спешке, иногда из-за безденежья Макарыч публиковал недоработанные рассказы («Вянет, пропадает»). Бытовые зарисовки называл рассказами. Лишь бы опубликовать. Печатал и биографические этюды, кои пригодились бы ему позднее, но жизнь и кинематографический ритм заставляли печатать все, что есть... Это не значит, что он не чувствовал, где хорошо, где так себе, а где плохо, каким бы и желала видеть его космополитическая братия. Нет, Шукшин умел работать. Сравним хотя бы два его рассказа — тот же «Вянет, пропадает» и «Осенью». Один — не более чем оригинальная бытовая зарисовка, другой же — полноценное, художественно выверенное произведение, достойное великих предшественников.

Поспешность, с которой он разрешал инсценировать свои рассказы и повести, объясняется обычным желанием подсобить другим. Торопливость, с которой Шукшин ставил свои первые пьесы, тоже понятна. Он спешил, потому что знал о своих сроках, видел, что не успеваешь. Невыношенные рассказы, как невыношенные младенцы. Он публиковал их частью из-за традиционной материальной нужды, частью оттого, что боялся не успеть. Он ощущал приближение очередного разгрома. Гроза над Родиной приближалась, он ее чувствовал и торопился, как торопятся на покосе сметать стог. Вот уже падают первые крупные капли, а стог только-только начат.

В. Иванов, продвигавший однажды и мой драматургический опус, поставил в Москве спектакль по рассказам Шукшина и пригласил меня на премьеру. Спектакль назывался «Беседы при ясной луне». Постановка оставила смутное ощущение неудовлетворенности. Почему были взяты именно эти рассказы, а не какие иные? Для чего этот пьяный священник? Сцену не покидала атмосфера капуста-ника, эта атмосфера глубоко противоречила драматургическому движению. Мое

понимание действия вновь не совпадало с режиссерским. Превосходный язык, яркие бытовые, истинно шукшинские коллизии не компенсировали, на мой взгляд, вялого действия, отсутствия конца и начала.

По-видимому, я сказал об этом и В. Иванову, и В. Шукшину. Первый начал спорить, второй промолчал. У Иванова интерес двигать мою персону в кино пропал, Шукшин еще пытался делать это хлопотное и громоздкое для него дело. Мой восторг давно растаял не только перед кино, даже перед театром. Спорил я о драматургии с Бабочкиным, скандалил (письменно) с Ульяновым, не ужился с редактрисой «Мосфильма». Таким оказался неуживчивым, отстаивая сюжетную драматургию...

* * *

Будучи в Вологде, Макарыч довольно много размышлял о Никоне, о его влиянии на царя и православную иерархию, рассказывал о разинских посланцах на Соловки. В Ферапонтове Макарыч вместе с Заболоцким приглядывался к древнему, обитому кожей креслу Никона, стоявшему в келье опального патриарха. Еще сильнее интересовал их шатровый собор, озерные красоты окрест и гениальные фрески Дионисия.

Мы встретились с владыкой Михаилом в его ветхом, но хорошо ухоженном доме. Владыку Михаила за его проеврейские симпатии в Вологде, как мне казалось, недолюбливали. Шукшин говорил с ним о Разине и о Никоне, вроде бы подарил книгу. Я старался помалкивать, визит быстро закончился. Куда интересней оказались для Макарыча встречи с простыми верующими старушками.

В селе Архангельском, куда он ездил искать «натуру», я вздумал «угостить» его старинной игрой на гармонии. Гармонист-старик оказался вполне современным, по-старинному не играл. Тогда же я вылез с бутылкой перед обедом, но Макарыч вежливо, но твердо пить отказался. И до сих пор стыдно за свою тогдашнюю зависимость от алкоголя «перед едой». Тогда я еще не старался избавляться от дурных привычек, не был знаком с академиком Угловым. Макарыч был ко мне снисходителен. Он прощал людям самые гнусные поступки, умел прощать. Мне было далеко до этого. С омерзением вспоминаю многие приключения, он же даже из коллективных попок извлекал нечто необходимое, то есть был добрее. Вот одно из его писем:

«Милый Белович!

Получил вот от Вани Пузанова книжечку в дар, и вспомнились те, теперь уж какие-то далекие, странные, не то веселые, не то дурные дни в вашем общежитии. Какие-то они оказались дороги мне. Я понимаю, тебе там к последнему курсу осточертело все, а я узнал неведомых мне хороших людей. И теперь вот грустно сделалось. Эдак, глядишь, и вся жизнь — бочком-бочком прошлепает. Как дела твои? Что-нибудь думаешь насчет перебраться сюда? Или запустил это дело с бородой вместе?.. Как ты жив-здоров? Не поленись, напиши пару слов. Хорошо, если у тебя вышло с переездом. Очень уж порой тут одиноко бывает. Сделай что-нибудь! Потрать время, силы... Надо ведь! Ну, дай тебе бог здоровья. Шукшин».

В разговорах о есенинском и шукшинском пьянстве много обычного вранья. Оба не те, за кого просвещенному мещанству или чекистским эстетам хочется их принимать. Макарыч умел брать себя в руки в схватке с «зеленым змием» — разновидностью рептильного Змея Горыныча. При этом он не утрачивал ни снис-

ходительности, ни почти женской сентиментальности. Сквозила в его словах и делах нежность к семье, к детям и женщинам, даже к таким, коих молва называет падшими. Все, что касается семьи и детей, было для Шукшина свято.

Помню, с какой радостью он воспринял рождение моей дочери. Между делом я послал ему дочкину фотографию.

«Спасибо тебе за письмо и за фотографию. Славный человек там, сколько любопытства к миру в двух «омутках» (из твоего арсенала)! Разве она может стать другой? Только и другого, наверно, что без волосиков. Это ты стал несколько другой, это так — глубоко и полно пережил, и стал чуть другой. Слава богу, что все теперь хорошо. Вишь, какие якоря в жизни кинуты!»

Письмо продолжено сценарной темой:

«Сценарий-то... Вот как. Ну, черт с ними! Самому делать бесконечные варианты, да бегать с ним — это столько времени и нервов, что, я знаю, ты не нашел бы ни того, ни другого. Да и время-то твое дороже, так и прими это. Я думал, что они все же не такие бесстыдники. Но ты бы на полдороге плюнул... Повесть в «Современнике» мне завернули, на мой взгляд, вовсе безобидную. Говорят: «Мы в течение года не будем давать ничего острого». Завалили журнал. Я больше туда и не пойду. Где возьмут сразу, без разговоров, туда и отдам. Я числа 15 марта выйду отсюда. Вот штука-то: две больницы в одной стране... Эх, сколько мы не знаем, Васюха! И это еще — не край, есть и другое, и много. Переезжай в Москву! Решишь. Вите Астафьеву — привет. Скажи ему мой совет: пусть несколько обозлится. Так за него обидно с этой премией-то. Пусть обозлится — будут внимательней. А то привыкли, что — ручные. А ублажают тех, кого побаиваются. Привет всем твоим и маленькой лысенкой. Я вот тоже ей на память фотографию. Шукшин».

Мое состояние постоянной тревоги за здоровье младенца он понимал прекрасно и успокаивал на основании своего опыта. Но я, вероятно, не сказал в своем отчаянном письме, что дочь моя заболела. Поэтому в следующем письме он все оправдывался за бодрчество:

«Вася, дорогой мой! Если Лида услала мое письмо к тебе (недавно), то я очень неуместно выскочил там с бодряческим тоном (откуда что взялось!), так что — пропусти эту бодрость, ей, видно, вообще нет места в жизни: как где вылетит, так самому потом совестно. Я не знал, что у тебя Нюра-то заболела... Я знаю, что это такое, когда они болеют. Но тут — скрепись и жди, больше ничего: им Бог помогает. Выздоровеет она, Вася: Природа разумна, добра — она не может так вот просто — наказать, и все. Она испытывает. У нас Маша лоб рассекла в садике, привели ее всю перебинтованную, бледную: «Срочно везите к хирургу зашивать рану!» Я так и сел, и говорить ничего не могу, а только думаю: «Но все равно кто-то (сам не знаю, кто) поможет!» Зашили рану, но шрам на лбу есть — на девичьем-то лице. А я в душе упорно думаю: «И это пройдет, зарастет как-нибудь». А как же зарастет? Позвонили сейчас из «Современника» — повесть не берут. «В течение года ничего острого не будем давать». Раньше бы расстроился, а сейчас — лежу, хоп что (может, перелечился?). Нет, какой-то новый этап наступает, несомненно. Ничего, думаю, это еще не конец. Буду писать и складывать. Напиши мне, если сможешь теперь, как дочка, как сам. Не падай духом, не падай духом, Вася, это много, это все. Много не сделаем, но СВОЕ — сделаем, тут тоже природа или кто-то должны помочь. И — немного — мы сами себе, и друг другу. Обнимаю тебя. Держись. Февр. 74. В. Шукшин».

По приезде в Вологду он первым делом приоткрыл детскую кроватку. Заиграл желваками, с минуту глядел. Дочка спала. Он осторожно положил ей в кровать замшевого кисана. Не забыл прихватить, когда уезжал из Москвы. Игрушка из детского арсенала его дочерей была потертой, от этого выглядела совсем домашней, не казенной.

В городе Вологде оказалось у него не так много поклонников. Зато поклонники, вернее, поклонницы были искренние и восторженные. «Вологодский комсомолец» не однажды печатал материалы, посвященные Шукшину, и он был благодарен. Московские журналисты все еще не больно-то охотились за ним. А кинодебют без прессы? Ничего он не значил... Добротная пресса — это еще одно обязательное условие успешной деятельности в кино. Я ехидничал по этому поводу. Макарыч не сердился, поскольку так и было. Кино и журналистика не могли друг без друга, они и сейчас взаимно необходимы друг дружке. Синтетическое искусство и журналистская всеядность? В этих явлениях было нечто общее. Документальное кино тех лет я признавал и ценил, в нем тогда еще не гнездились похабщина и цинизм. Несомненно, польза от нравственно чистого кинематографа очевидна, как очевидна польза от честной, непродажной печати. Только много ли таких, кто осмеливается противостоять сейфу, набитому валютой, или набитому дураку-бюрократу? Не много таких героев, и тут мы с Шукшиным не спорили...

Произошла одна довольно значительная для него поездка в Тимонику. В ту пору он уже не прикладывался к рюмке, вроде бы я тоже начал самоограничиваться. Клуб в пятистах метрах от Тимоники в те дни еще действовал, показывали там кинофильмы и работала библиотека. Макарыч мог часами стоять около книжных стеллажей. Как-то он притащил оттуда «Роман-газету» — «Один день Ивана Денисовича». Хотел: «До вас еще не дошло. В других местах Солженицын давно изъят».

Мы втроем (приезжал с Шукшиным Толя Заболоцкий) старались не пропускать сеансов, любопытно было слушать громкие женские комментарии. Мужская часть зрителей смотрела обычно молча. Бабы реплики неподражаемы...

Придут старушки, усядутся вперемешку с молодыми и внуками. Обсудят новости, весело расскажут про свои болячки. Киномеханик пройдет по рядам, соберет с них свою жалкую дань. Начинают изгонять из зала собачонок, злых звонких собачек и крупных, обычно весьма добродушных псов. Но кое-кто, жалея копейки, приходил во время сеанса и пропускал собак опять в те же двери.

Собаки давно научились смотреть кино. Крупный овчар, не помню, на каком фильме, улегся у ног хозяйки, лежал во время сеанса тихо. Вдруг он глубоко и шумно вздохнул. Оказалась в картине как раз пауза, и этот собачий вздох обнаружил не одну только собачью тоску. Мы с Толей ткнули друг друга в бок и едва не расхохотались: шла какая-то закавказская белиберда. Макарыч в тот раз почему-то остался дома.

В другой раз уже с Макарычем пришли мы на клубный концерт по случаю праздничной даты — в День Советской Армии. На стол, который размещался на сцене, библиотекарьша поставила табуретку и завесила ее красной материей. Получилась трибуна. Докладчицу слушали с такой же охотой, с какой смотрели кино. Но концерт старушки слушали еще охотнее, потому как все школьные артисты свои, доморощенные.

Моих друзей сильно заинтересовала одна девочка лет двенадцати — Катя Миронова. Она безо всякого сопровождения тоненьким голоском спела песенку о

двух военных друзьях. Помнится, в припеве имелись такие слова: «Тебе половина и мне половина». Шукшин загорелся свезти девочку в Москву, записать или даже снять для кино. В Москве позднее я не раз слышал, как Макарыч пел бесхитростный этот припевчик.

Мы ходили по умирающим, но еще живым окрестным деревням. Забрели и к отцу девочки Африкану Миронову...

Хорошо запомнился последний шукшинский приезд на Вологодчину.

К этому времени я занял денег у художника Володи Корбакова, дождался каких-то гонораров, собрал все свои сбережения и купил новый «уазик». Машина окончательно сделала меня вологжанином. Я начал старательно крутить восьмерки на территории какого-то гаража. Лев Аллилуев, шофер молодежной газеты, научил шоферским азам. Дело было 9 мая, и вздумал я обновить свой «УАЗ». Фронтвик Лев Аллилуев не очень-то охотно жертвовал Днем Победы, сопровождая мое первое путешествие в Харовский район. Бензин в те времена был вполне по карману, как и коньяк «Плиска». Эту характерную пузатую бутылку я купил для Льва Михайловича, для страховки усевшегося рядом с новоявленным водителем.

Какой я был шофер, лучше не вспоминать. Но Лева говорил ясно и просто: «Ездить не будешь и не научишься». Рискнули, поехали.

На задних сиденьях устроились Заболоцкий с Макарычем, мечтавшие о тимохинской тишине.

Пока ехали по асфальту, все у меня получалось как надо. День был солнечный, весна растопила свой небесный костер, даже в кабине воздух пронизан майской свежестью, землей и водой. Мы молча вспомнили майские дни 1945 года, дни нашей безотцовщины, вспомнили радостно-горькие материнские слезы. Шукшин был возбужден, однако не говорил ни слова. Я чувствовал, о чем он думает, по его плотно сжатым зубам. Желваки выдавали его волнение. Чтобы хоть немного развеселить пассажиров, я остановился и начал рассказывать, о чем я мечтал в детстве, когда не стало отца. Говорил, одна мечта сиротского моего детства сегодня осуществилась: я стал шофером. Прекрасное, необъяснимое чувство «вождения» запомнилось еще по велосипеду Коли Самсонова. Как бескорыстно, с каким удовольствием он давал нам свой двухколесный!

А тут целая машина! Подчиняется, едет, от легкого жеста поворачивает куда надо. Да, эта мечта детства осуществилась. Всего одна. Остальные мечты (например, ходить под парусом, освоить ноты), увы, не сбылись. Стать шофером Макарыч тоже мечтал еще в детстве, и теперь он, кажется, мне завидовал. Он наблюдал, как я наслаждался властью над мертвой, теперь как бы одушевленной техникой. Но вот асфальт кончился. Лев Михайлович был недоволен испорченным праздником, поэтому я открыл для него «Плиску». Вместе с этим я отдал ему и руль, а сам перебрался на его место.

Опытный Лев Михайлович глотнул коньяку и начал штурмовать кучи песка, наваленные на нашем пути. Дорога строилась, местами была непроезжей. Коньяк действовал недолго. Леве явно хотелось повернуть обратно. Макарыч, наоборот, по-прежнему стремился в деревню. Я оказался в сложном положении, но от коньяка удержался. Мы продолжали с трудом преодолевать весеннюю кашу, образованную песком, снегом и оттаивающей глиной. Вдруг мой «УАЗ» остановился. Началась первая в моей жизни буксовка.

Лев Михайлович, если б захотел, то, конечно, пробился бы, до Харовска оставалось немного. А там, авось, добрались бы и до деревни. Но Леве явно не хо-

телось буксовать в праздничный выходной. Что было делать? Мы развернулись и, к неудовольствию Шукшина, поехали вспять. Лев Михайлович воодушевился, хватил из бутылки и показал, на что он способен...

В городе Соколе народ праздновал. Группы приодетых людей грудились там и тут, гремели динамики, милиция добродушно пропускала редкие машины. Мы благополучно вырулили напрямую к Вологде. Подъезжая к Фофанцеву, Лев Михайлович в праздничной толпе издали углядел милицейский жезл. Лева тормознул. И не успел я сообразить, что к чему, как тучный корпус Аллилуева придавил меня к сиденью. Шофер через ручки и рычаги проворно переместился с водительского места на соседнее, то есть прямиком на меня. Я наконец сообразил, что от меня требуется, вывернулся из-под грузного Левы, не менее проворно перебрался на шоферское место и быстренько включил первую. До инспектора оставалось метров сто. Милиционер, видимо, заметил подозрительную возню в машине — и бегом навстречу. Я остановился... Момент для Макарыча, наверное, был редкостный. Подбежал инспектор, потребовал с меня документы и, не глядя в них, поспешно сунул мне стеклянную трубочку: «Дуй!» Я испуганно начал дуть, мне казалось, что коньяк не в желудке Левы, а в моем непосредственно. Милиционер поглядел на стекляшку. Он был явно разочарован и вернул мне новоявленные права. Оживленный Макарыч долго вспоминал потом эту сцену, он наблюдал за ней глазами режиссера, актера, писателя. Кто из сельских мальчишек не мечтал в детстве иметь свою машину? Он не ставил бы фильм о шофере, не создавал бы множество рассказов, связанных с шоферской профессией. Эпизод несколько скрасил его хмурое настроение. Но мы не теряли надежды уехать в Тимонику поездом...

* * *

Наутро мы поспешно отправились на вокзал к пригородному. В те времена железная дорога обходилась совсем недорого, народ ездил туда-сюда, иной раз без толку.

Двое парней («козлячьего», как я называю, возраста) узнали Макарыча и начали дурачить друг друга, передразнивая: «А ну-ка, глаза в глаза!» Мне было стыдно. Мы вышли из купе в тамбур. Макарыч спросил меня о Яшине, чтоб отвлечь меня от досады на моих молодых земляков. Он слушал рассказ о моем покойном друге, слезная поволока накатывалась ему на глаза, по игре желваков я догадывался о его волнении. Я рассказывал о семидесяти днях яшинских страданий, когда он лежал разрезанный, без всяких надежд и упрекал меня в плохой дружбе. «Настоящий друг дал бы что-нибудь, чтобы мне скорее умереть», — сетовал Александр Яковлевич. Говорили о горьких для меня проводах Яшина в родные места. Желаящих провожать было так много... Коля Рубцов поглядел на суматоху и отошел в сторону, не полетел. Ил-40 поднялся без Рубцова, чтобы долететь до Никольска, пока светлое время. На середине пути у яшинского гроба вдруг появляются несколько «зайцев» определенной породы. Они каким-то путем проникли в самолет, спрятались в хвосте и летят. Мне было жаль оставленного в Шереметьеве Рубцова, почему бы ему не сделать то же самое? Макарыча интересовали все детали, все мелочи того скорбного рейса...

Вспомнили мы и встречу в моем номере гостиницы «Россия» в дни писательского съезда. Пел народные песни Борис Можаяев, блистал очками невероятно большой диоптрии петрозаводский прозаик Петр Борисков. (Добрейший был человек Петя, и проза его военная осталась в русской литературе.)

Упомянутый мною Борис Можаяев серьезно работал с трагической, нелюбимой начальством темой коллективизации. Шауро и Суслов считали, что для литературы достаточно и «Брусков» Панферова. «Поднятую целину» они, конечно, приплюсовывали туда же и держали ее отдельно, как бы в числе достижений. «Целина» и была таким достижением, Панферову до Шолохова было весьма далеко. Только меня, к примеру, совсем не прельщал пролетарский герой Семен Давыдов. И Можаяева тоже. Об этом на съезде, конечно, не говорилось.

В те хлопотно-занятные дни привез я Макарыча в свой номер, где познакомил его с Федором Абрамовым... Они с ходу поняли друг друга, и, кажется, поняли безоговорочно. Смерть Федора была для всех неожиданной, такой же, как смерть Коли Рубцова или Анатолия Передреева. Но все эти тягостные прощания стояли еще впереди... Впереди была и кончина самого Макарыча, с которым я вспоминал наших общих друзей в вагоне пригородного поезда.

«А ну-ка, глаза в глаза!» — опять заладил парень, забравшийся на вторую полку. Второй парень ехал вниз. Мне опять стало стыдно за этих болтунов, но сам Шукшин оказался добрее меня, не обращал внимания на их зубоскальство. Какие-то девушки тоже узнали его, просили автографы.

В Харовске мы все трое рассчитывали сразу уехать в Тимонику, но дорога совсем пала, и свободных машин у начальства не оказалось. (И моя персона еще не внушала землякам достаточного почтения.) В напрасных хлопотах проголодались, и я повез своих друзей в Дом отдыха, где командовал Алфей Дятлов, бывший наш председатель колхоза.

Моя затея опять провалилась, Макарыча и Толю я довез всего лишь до Харовска. Оставалось 65 километров, и Макарыч все еще рвался в Тимонику. На харовском ночлеге он успел набросать какую-то статью. Обещанная начальством машина не пришла. На улице стояла такая распутица, столько было везде воды, что все шоферы сидели дома. Идти пешком? Мы переночевали в дятловском заведении и поездом возвратились в Вологду.

В послевоенные годы нужда и лишения не покидали крестьянскую Русь. Над этим работали многие академики типа Заславской. Как упоминалось, при Горби появились даже спецы по психологическим и медикаментозным способам нейтрализации молодежной агрессивности. Об этом говорила мадам Бехтерева, депутат из Ленинграда. Дело было на совещании при ЦК, где я тоже участвовал как депутат. Макарыч лежал уже на Новодевичьем.

Горбачев, вернее, его идейные «шестерки» устроили полумасонский совет. Мадам Бехтерева, захлебываясь от восторга, докладывала начальству, как с помощью психиатрии держать русскую молодежь в узде, чтобы она не брыкалась и делала, что велят. Ну, точь-в-точь по монологу Кошея из моей пьесы!

Выступить на этом совещании не удалось, там без меня было много всяких говорунов. Свое возмущение я высказал Бехтеревой в Кремлевском дворце то ли запиской, то ли вслух. Она намекнула на судебный финал, а я предложил ей публичную полемику в печати. Ни суда, ни полемики, конечно, не было... Вот в каких условиях мы жили во времена перестройки, то есть после смерти Шукшина. И впрямь, вовремя он погиб...

Так все же случайно он умер или погиб? Думалось, разберемся сразу после ельциноидов, только ельциноидам-то нет, похоже, износу...

Печатается в сокращении.

Источник: Тяжесть креста: (воспоминания о В.М. Шукшине) / В. Белов // Наш современник. — 2000. — № 10. — С. 106–160. — (Память).